

Константин ПАУСТОВСКИЙ

II

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ
ОЖИДАНИЙ



Повесть о жизни

Константин Паустовский

Книга скитаний

Паустовский К. Г.

Книга скитаний / К. Г. Паустовский — — (Повесть о жизни)

«Повесть о жизни» – главное произведение Константина Георгиевича Паустовского, которое венчает «Книга скитаний». Повесть посвящена творческому становлению писателя, дружбе с блестящими прозаиками и поэтами и странствиям по России, Средней Азии и Закавказью. Особенность данного издания в том, что события романтической прозы Паустовского как бы проецируются на экран действительности и личной жизни писателя, отраженной в его письмах и дневниках, воспоминаниях и комментариях сына Вадима. Письма и дневники К. Г. Паустовского, комментарии к ним публикуются впервые.

Содержание

НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ. Предисловие Вадима Паустовского	5
Последняя встреча	14
Полевая тишина	18
«Четвертая полоса»	24
Ночные поезда	30
Стужа	38
Снежные шапки	43
Проводы учебного корабля	46
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Константин Паустовский

Книга Скитаний

НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ.

Предисловие Вадима Паустовского

*Тайна личности, ее единственности, пикону не понятна до конца.
Личность человеческая более таинственна, чем, мир. Она и есть целый мир...*

Николай Бердяев

Впервые заключительная книга «Повести о жизни» была опубликована в 1963 году в № 10 и 11 журнала «Новый мир». Отдельной книгой вышла в издательстве «Советская Россия» в 1964 году.

В «Книге скитаний» отражен период жизни героя и становления его как писателя с середины 1923-го по 1936 год. Это было время не только издания первых книг К. Паустовского, преимущественно очерковых, но и выхода к широкому читателю с повестью «Кара-Бугаз», имевшей подлинный успех. Книга позволила критикам говорить о появлении в литературе нового и яркого таланта.

Об этом периоде К. Паустовский в середине 1930-х годов в интервью одному из журналов для рубрики «Писатели о себе» скажет:

«После Тифлиса начался писательский период моей жизни. Стать писателем мне помог не только запас наблюдений, не только стремление рассказать людям волнующие и простые истории, но помогла и упорная жажда собственной полноценности.

Став писателем, я снова с гораздо большей свободой, чем раньше, начал скитаться. Я объездил сожженные сухим солнцем берега Каспийского моря, глинистые пустыни, Дагестан, Волгу, полярный Урал, Карелию, Север, Мещерские леса, Каму, Крым, Украину, спускался в шахты, летал, плавал на лодках по глухим рекам, изучал Новгород-Великий и Колхиду, калмыцкие степи и Онежское озеро – в поисках людей, в постоянных поисках живых, прекрасных черт новой жизни.

Я считаю, что только в движении, в непрерывном соприкосновении с жизнью можно понять и почувствовать сущность эпохи и передать в меру своих сил это действенное ощущение другим...»

Первоначальный вариант повести «Книга скитаний» был иным, в письмах к своим корреспондентам и друзьям отец сообщал о работе над книгой «На медленном огне». Такое заглавие ему казалось более точным для характеристики жизни людей в тоталитарной стране периода 20-30-х годов.

Сегодня «Книга скитаний» читается на одном дыхании, как и в 1960-е годы. Но тогда читатель воспринимал книгу еще и в контексте времени. Тогда еще не пришла так называемая «перестройка» и не наступила гласность. Тогда, после XX съезда, уже можно было говорить о заключенных, возводящих в Березниках гигантский химкомбинат, можно было сказать, что «писатель Буданцев одним из первых погиб в Чукотских лагерях». И в то же время, когда пресса еще была забита фамилиями Кочетова, Бубеннова, Павленко и их борзописцев-прихлебателей, одно упоминание имени Бориса Пастернака все еще было светом в окошке. Тогда многие безвинно осужденные писатели не были реабилитированы по простой причине – отсут-

ствия родственников, которые по закону имели право возбуждать ходатайство о пересмотре дел.

Давайте не поленимся и назовем имена лиц, упоминаемых Константином Паустовским в «Книге скитаний»: Александр Зузенко, редактор Генрих Эйхлер, писатели Сергей Третьяков, Исаак Бабель, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Борис Пильняк, Павел Васильев, Николай Заболоцкий, Василий Гроссман, Виктор Некрасов, Николай Олейников, Михаил Лоскутов, Семен Гехт, академики Е. В. Тарле и Н. И. Вавилов. У одних власть арестовывала рукописи, другим не позволяла печататься, третьих выгоняла на поселение или в эмиграцию, остальные умирали в заключении, и лишь немногим, прошедшим этапы, удалось выжить и прожить на свободе крупницы лет.

Я понимаю отца и смысл первоначального названия книги. Более того, года три назад я узнал, что канонический текст «Книги скитаний», который читатель и ныне держит в руках, был сильно, чуть ли не вдвое урезан цензурой и осторожными благожелателями. Были страницы об убиенном Сергее Клычкове, были рассуждения о сталинских репрессиях... Шестидесятые годы еще только начинались...

Эпиграф Бердяева к статье «не случаен».

В послесловии к первому тому юбилейного (1993 года)¹ издания «Повести о жизни» я говорил о совпадении взглядов Паустовского с философом Бердяевым. Это связывалось с интеллектуальной атмосферой Киевского университета, с лекциями по философии профессора Гилярова. Но такое объяснение, разумеется, не является полным. Однако на одном обстоятельстве следует остановиться особо.

Бердяев на склоне лет также работал над автобиографической книгой, которую назвал «Самопознание». Паустовский вряд ли мог прочесть ее. Ведь появившаяся в Париже вскоре после Второй мировой войны, книга Бердяева в Москве была издана сравнительно недавно Н. Бердяев. Самопознание. Опыт философской автобиографии. – М.: «Мысль», 1991).

Само название книги Бердяев объяснял тем, что он в первую очередь является все же философом, хотя считает себя и писателем. В предисловии он детально касается замысла своей автобиографии и тем самым неожиданно, но очень точно как бы раскрывает «внутренние пружины», которыми руководствовался и... Паустовский при создании «Повести о жизни». «Психологическое совпадение» у людей лично незнакомых, во многом очень различных, но в чем-то обладающих общими реакциями, общим строем мысли – словом, тем, что ныне принято называть менталитетом.

Откровения Бердяева о замысле и плане его книги имеют особое значение, потому что Паустовский старательно избегал раскрывать философские аспекты «Повести о жизни». Для этого были свои причины. Советская критика изначально отнеслась к этому произведению с подозрительностью и «без энтузиазма». Если бы автор еще и теоретически обосновал свое «кредо», то реакция могла быть непредсказуемой уже не только со стороны критиков. В «энтузиазме» по части гонений и приклеивания ярлыков у нас никогда недостатка не было.

Потому Паустовский просто предпочитал «литературно жить» в своем замысле, не объясняя и не анализируя его. В этом также заключается и отличие художника от философа. Но философ тем не менее помогает писателю «понять себя», а нам – полнее оценить творчество того и другого.

В своем предисловии Бердяев пишет: «Книга моя написана свободно, она не связана систематическим планом. В ней есть воспоминания, но не это самое главное. В ней память о событиях и людях чередуется с размышлениями и размышления занимают больше места».

Эта характеристика в точности может быть отнесена и к «Повести о жизни», так же как и следующие высказывания Бердяева: «Книги, написанные о себе, очень эгоцентричны. В лите-

¹ Второй том с повестями «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний» не выходил (ред.).

ратуре „воспоминаний“ это часто раздражает. Автор вспоминает о других людях и событиях, а говорит больше всего о себе... Книга эта откровенно и сознательно эгоцентрическая... Дело идет о самопознании, о потребности понять себя, осмыслить свой путь и свою судьбу...»

В рассуждениях Бердяева как бы содержится ответ тем критикам, что постоянно упрекали Паустовского в отрыве от действительности, в его стремлении уйти в свой внутренний мир. Сам писатель редко отвечал на подобные обвинения или игнорировал их.

Исключительное значение в своей работе Паустовский всегда придавал роли памяти. Он считал ее не только «даром природы», но и профессиональным оружием писателя. И здесь не могут не привлечь внимания слова Бердяева:

«Такого рода книги связаны с самой таинственной силой в человеке, с памятью... В памяти есть воскрешающая сила, память хочет победить смерть... Память активна, в ней есть творческий преобразующий элемент, и с ним связана неточность, неверность воспоминания. Память совершает отбор: многое она выдвигает на первый план, многое же оставляет в забвении, иногда бессознательно, иногда же сознательно... Гете написал книгу о себе под замечательным заглавием: „Поэзия и правда моей жизни“. В ней не всё правда, в ней есть и творчество поэта...»

И в заключение – замечания Бердяева, под которыми Паустовский мог бы подписаться двумя руками. В таком духе он не раз высказывался и в разговорах, и в публичных выступлениях:

«Несмотря на западный во мне элемент, я чувствую себя принадлежащим к русской интеллигенции, искавшей правду. Я наследую традицию славянофилов и западников... Я русский мыслитель и писатель. И мой универсализм, моя вражда к национализму – русская черта».

Тот творческий эгоцентризм, необходимость которого так убежденно отстаивал Бердяев, у отца органично проявлялся и в замысле, и в композиции «Повести о жизни».

В центре повествования – главный герой, вокруг которого разворачивается все действие. Чредой проходят остальные персонажи, одни задерживаются на страницах романа дольше, другие – нет, но в итоге неизменно сменяются и исчезают все, кроме главного действующего лица. Писатель не делает исключения даже для своих жен, на протяжении многих лет игравших немалую роль в его жизни. Но в романе годы, проведенные с ними, как бы «сжимаются» в небольшие отрезки времени, а воспоминания о женах воплощаются в преобразенные образы любимых женщин, время от времени как бы озарявших его жизнь. И вот одна из них умирает, другая внезапно исчезает, хотя их реальные прототипы, как говорится, «оставались в добром здравии» еще многие годы.

Столь субъективный подход у Паустовского проявляется не только в романах и повестях, но даже в путевых очерках. Таким очеркам, кстати, он всегда придавал особое значение.

В 1956 году отец совершил плавание вокруг Европы на теплоходе «Победа». Это был первый такого рода туристический круиз после «сталинской стужи». В числе спутников отца оказался писатель Даниил Гранин, который, много позже вспоминая об этом плавании, поделился несколькими очень ценными наблюдениями. Гранин сравнивает один из последующих путевых очерков отца с реальной обстановкой поездки: «В очерке про Неаполь „Толпа на набережной“ Паустовский ведет рассказ так, будто только он приехал в Неаполь. Нас там нет. Все приключается с ним одним, одиноким путешественником. В поездке с нами он втайне совершал и другое путешествие – без нас. Как бы самостоятельно, без огромной толпы туристов. Как бы сам останавливался в отелях, знакомился, попадал в происшествия, не торопясь наблюдал чужую жизнь. Он путешествовал больше, чем ездил. Его любимцем был Миклухо-Маклай – „человек, обязанный путешествиям силой и обаянием своей личности“. Он любил вспоминать Пржевальского, Нансена, Лазарева, Дарвина».

Здесь подмечена еще одна очень важная особенность отношения Паустовского к окружающему, о которой он сам как-то сказал так: «Жить нужно странствуя...»

Не случайно путешествие всегда было его стихией, его мировоззрением. Этому уделено немало места на страницах «Повести о жизни». Даже заключительные ее части носят «чисто путевые» названия – «Бросок на юг», «Книга скитаний».

За такими названиями как бы видятся «обширные географические пространства». Но в действительности ведь речь шла лишь о поездке из Одессы на Кавказ, а оттуда – в Москву. Затем автор оседает в рязанской глуши и заново открывает для себя Среднюю Россию – «срединную», как он любил говорить. Правда, в «Книге скитаний» он еще вспоминает о поездках на Каспий, в Карелию и на Урал. Вот и все.

Но писатель, сталкиваясь со многими явлениями послереволюционной действительности, осмысливает их по-новому и обогащает свой опыт. Таким образом, путешествия двух последних частей романа осуществляются не столько вовне, сколько «внутрь себя».

Каждая автобиографическая книга подобна айсбергу. Огромный пласт событий остается как бы «под водой», в глубинах памяти автора. Причины здесь самые разные – и объективные, и субъективные. «Повесть о жизни» – не исключение.

Иногда писатель все же опускается поглубже в свой «подводный мир» и, может быть, неожиданно для себя, решается «вывести в свет» отдельные заветные воспоминания. При этом он старается пропускать их сквозь призму воображения. Так ему легче к ним прикасаться. Немалую роль играет и «закон дистанции» – нужно достаточно отдалиться от пережитого. Однако для этого не всегда хватает человеческой жизни.

И снова сошлюсь на рассуждения Д. Гранина, который, по существу, общался с отцом во время плавания не так уж много, но затем, уже со своей «дистанции», сделал точные обобщения. Проявив должную интуицию, он пишет: «Паустовский знал жизнь, знал неплохо, но ему надо было отдалиться, чтобы черты ее не резали глаза; поодаль она теряла ту обязательность, когда остается лишь обводить увиденное. Если ему удавалось найти нужную дистанцию, можно было рисовать свое, воображаемое...» И еще: «О самом сокровенном, личном он избегал писать. Оставлял для себя. Нельзя все для печати».

Последнее замечание Гранина, очень точное, неожиданным образом возвращает нас к автобиографической книге Бердяева. Эта книга написана достаточно обстоятельно и подробно. Автор даже подчеркивает свое стремление к тому, «чтобы память победила забвение ко всему ценному в жизни». Однако в одном Бердяев проявляет большую сдержанность:

«Но одно я сознательно исключаю: я буду мало говорить о людях, отношение с которыми имело наибольшее значение для моей личной жизни и моего духовного пути. Но для вечности память наиболее хранит это...»

Здесь нет никакого секрета. Бердяев имеет в виду прежде всего двух спутниц своей жизни – сестер Лидию и Евгению Рапп. Лидия стала его женой, но после ее смерти преданным другом философа оставалась Евгения. Ей и посвящено «Самопознание».

Нельзя сказать, что о сестрах совсем не упоминается на страницах его книги. Но это именно упоминания, сводящиеся к нескольким справочным сведениям, не более. Видимо, потому, что сама тема по своему значению требовала отдельного глубокого освоения, которое автор так и не решился, а может быть, не собрался или не успел предпринять.

И снова – совпадение. Как и у Бердяева, немалая роль в духовном и творческом становлении Паустовского выпала на долю двух сестер – Екатерины и Елены Загорских. И точно также мы напрасно будем искать документальные подробности об этом на страницах книги, но очень многое узнаем из писем и дневников.

С младшей сестрой – Екатериной – будущий писатель познакомился осенью 1911 года в санитарном поезде. Она была сестрой милосердия, он, как тогда говорили, – братом милосердия, или попросту – санитаром. Увлечение переросло в роман и завершилось женитьбой.

В дальнейшем покровительницей этого брака стала старшая сестра Екатерины – Елена, или Леля, как ее звали по-домашнему. К сожалению, она умерла от скоротечного сыпного тифа в 1919 году когда супруги Паустовские жили уже в Одессе (книга «Время больших ожиданий»).

Образ своей первой жены – Екатерины Степановны Загорской-Паустовской (моей матери) – отец воплотил в ряде произведений и прежде всего в повести «Романтики», где называет ее так же, как в письмах и дневниках, – Хатидже.

Однако героиня «Повести о жизни» – неожиданно умирающая на фронте от оспы сестра милосердия Леля, – несмотря на некоторые черты Екатерины Загорской, имеет другой прототип. Точнее, это образ собирательный. Обстоятельно я еще вернусь к этой важной теме, а пока на ближайших страницах буду касаться ее лишь вскользь, в связи с разговором о так называемом «сознании писателя».

Знакомство с литературным воплощением жизненного пути отца привело меня к мысли, что понятие «сознание писателя» может быть отнесено ко многим пишущим людям и имеет право на самостоятельное существование. Речь идет опять же о некоем «психологическом единстве», для определения которого вполне подходит этот обобщенный термин.

Так, одной из неперенных составляющих понятия «сознание писателя», по-моему, является чувство ответственности, прежде всего перед страной и ее народом. Причем это чувство питается не только рассудком. Оно во многом природно, идет к нам от родной земли, буквально от почвы, по которой мы топаем в детстве босыми ногами.

Для отца в понятии «сознание писателя» в равной степени сплелись два начала – личное и общественное. Может, потому он, человек, которого нередко упрекали в аполитичности, повинаясь своему чувству ответственности, первым среди литераторов (да, пожалуй, и политиков) открыто сказал об опасных свойствах высокой партийной номенклатуры. И первый употребил этот термин в чисто негативном смысле.

Это было в октябре 1956 года на обсуждении в Доме литераторов нашумевшего романа Дудинцева «Не хлебом единым». Отец считал, что именно в результате формирования класса номенклатуры – наследницы худших черт дореволюционной бюрократии – в нашей стране произошла полная трансформация слова «социализм». Это слово превратилось в ширму для маскировки эгоизма, жадности и ограниченности пробравшихся к власти чиновников, связанных круговой порукой. Утверждение отца актуально и сейчас. Может, даже в большей степени, чем тридцать с лишним лет назад.

«Сознание писателя» – не случайность, не фикция, что это нечто стабильное, не подчиняющееся ни моде, ни политическим убеждениям или социальным факторам.

Для подтверждения этого достаточно вспомнить о реакции русской литературы на Октябрьскую революцию. Социалистические идеи всегда разделялись лучшей частью русской интеллигенции, не исключая и писателей. Почему же многие из них не только не приняли Октябрь, но и проклинали его самым решительным образом? «Общественному сознанию» потребовалось для этого более семидесяти лет. Или писатели уже тогда интуитивно почувствовали, что социализм и большевизм – далеко не одно и то же? И, может быть, их интуиция шла еще дальше, распознав за большевизмом зримые черты фашизма, хотя в те годы такого термина еще не существовало?

Характерно, что писатели были далеко не единомышленники в политическом отношении, к тому же в самих идеях Октября было немало объективно привлекательного. Несмотря на это, реакция «сознания писателя» оставалась глубоко негативной. Достаточно упомянуть такие имена, как Бунин, Короленко, Куприн, Мережковский, Андреев, Зайцев... Весь цвет русской литературы того времени.

Паустовский в те годы был всего лишь начинающий литератор, но его отношение к большевизму и Ленину ничем не отличалось от оценок «маститых». Со временем жизнь внесла

сюда свои коррективы, но только в деталях. В целом мнение сложилось изначально. Оно подтверждается дневниками и письмами отца, доверительными беседами с ним.

Основной упрек, который он выдвигал при этом, – моральная несостоятельность, когда чисто политические претензии становятся ведущими и подавляют чувство ответственности за судьбу страны и народа, а впоследствии и культуры.

Разговор на эту тему неизбежно приводит к сопоставлению понятий «сознание писателя» и «сознание политика». Излюбленный грустный афоризм отца заключался в утверждении, что ни один революционер, также как и политик, не может определить заранее, «куда его занесет и к чему он придет». Эта мысль, звучащая совершенно не научно, тем не менее подтверждается всегда. Вспомним хотя бы ход и последствия «перестройки», провозглашенной в 1985 году.

По одной из шуточных теорий отца, соображениями «высокой» политики часто прикрываются интересы сугубо «профессиональные», где не последнюю роль играют соображения чисто служебного честолюбия, корысти и престижа. Корысть не всегда связана со стремлением к материальным благам. Она может воплощаться в жажде власти, умении навязать другим свою волю, свой строй мысли, то есть в эгоизме.

В России революция стала профессией еще с конца XIX века, причем революционер, достигший власти, превращался в политика. Писательство тоже связано с профессионализмом, но только иного рода. Инструмент писателя – слово – обращен к духовному миру людей.

Революционеру этого мало. Ему нужна реальная сила, на которую он может опереться для захвата и удержания власти. Он находит эту силу в народе, но народ для него в этом случае – всего лишь профессиональный инструмент.

«Сознание писателя» терпимо к слабостям человеческим, но не терпимо к злу и насилию. Революционер-политик презирует людские слабости, но по «профессиональным» соображениям приемлет зло и насилие как средство для достижения цели, опять же как своеобразное «орудие производства». И совсем становится не до шуток, когда мы убеждаемся, что к числу таких орудий относится сознательный обман и запланированная ложь. «Сознание писателя» исходит из прямо противоположных предпосылок. Это лучше всего выразил Бабель, однажды сказавший: «Иногда бывает так: обманывают друга, родителей, любимую девушку, жену, – но никогда нельзя обмануть чистый лист бумаги... Никогда!»

Паустовский говорил, что эта веселая фраза Бабеля лучше всего выражает сущность писательства и как призвания, и как профессии.

Отец находил очень удачным выражение поэта Велимира Хлебникова, который делил всех людей только на две категории – «изобретателей» и «приобретателей». Это соответствовало духу «сознания писателя», приоритет отдавался нравственному началу. Политическое же сознание оценивает человека прежде всего по его принадлежности к тому или иному классу, нации, религии и т. д.

«Изобретатели» – все те, кто трудится, мыслит, разочаровывается, но следом за этим шаг за шагом снова овладевает культурой – то есть умением на каждом этапе пути отбрасывать худшее, неприемлемое и «культивировать» все ценное, оправдавшее себя.

«Приобретателям» все это не нужно. Они вполне довольствуются «лицом зверя», и обнадеживает то, что в общем их все же меньше, чем «изобретателей», составляющих преобладающую часть человечества. Однако очень много «приобретателей» пасется среди «людей власти» – политиков, работников торговой сети, всякого рода администраторов – словом, тех, от кого зависит, причем самым конкретным образом, свобода и благополучие общества. Совершенно очевидно, сколь значительна их роль в тех структурах, к которым и близко не следует подпускать людей нравственно ограниченных. Однако они с патологической настойчивостью стремятся только к власти.

Для «изобретателей», напротив, власть сама по себе не имеет никакой цены. Более того, они ее презируют, так как процесс развития культуры полностью поглощает их силы. Он вос-

пламеняет их и приносит то удовлетворение жизнью, что является высшим уделом человека. Они усердно служат ему у заводского станка, за письменным столом или в кабине космического корабля.

Процесс этот мучителен, и недаром, по мнению отца, хорошо сказал об этом Ле Корбюзье, который был архитектором и по призванию, и по профессии: «Культура не создается в одночасье, она отнимает у нас века усилий».

Зато утрата культуры может произойти стремительно, именно в «одночасье». Так неизменно случается во время войн и революций, которые, подобно землетрясениям, встряхивают все «здание».

Потому что культура знает: успешно двигаться дальше можно, не отрицая опыта прошлого, а поняв и освоив его, как бы стоя у него на плечах. А если постоянно будешь соскакивать с этих плеч, то никуда не двинешься, а только расшибешься. Что и происходит с нашей страной не один десяток лет.

Таково было отношение Паустовского к понятию «культура». Он считал, что успешно следовать по пути культуры умеют уже очень многие – ученые, инженеры, даже простые обыватели. Отстающими учениками, так сказать двоечниками, являются, к сожалению, политики. Они никак не могут усвоить простую истину, известную любому специалисту, ну, скажем, конструктору автомобилей. Разрабатывая новую модель, он первым делом учтет все преимущества, а не только недостатки предыдущей. И уж никоим образом не начнет с того, что раздавит старую модель под прессом, а здание завода снесет вовсе. Потому что прекрасно знает: стоит пойти по такому пути, как с нового конвейера сойдет и не автомобиль вовсе, а деревянная телега.

Отец всегда подчеркивал мысль об универсализме нравственной культуры. Считал, что в отличие от политика для писателя не может быть нравственности дворянской, крестьянской, купеческой либо какой другой. Есть нравственность общечеловеческая.

Иные такие утверждения только облегчают захват власти «приобретателями» в роковые моменты истории, когда в результате войн либо революций образуется вакуум культуры. Подобная метаморфоза произошла и с Октябрем.

Опять оказался прав Ле Корбюзье. Он заметил, что большие люди нужны для решения больших уравнений эпохи, а пользоваться этими уравнениями могут и посредственности. Корбюзье только не учел, что посредственности не способны внести в уравнения коррективы, если обнаружится, что в них имеется изначальный изъян. Это их и погубило.

Первый удар партократия нанесла по своим идейным предшественникам, по отношению к которым испытывала биологическую несовместимость. Все искренние авторы больших и малых уравнений сгорели, как мотыльки.

Настала очередь народа. Роль его нового вождя досталась Сталину. По мнению отца, сила Сталина была не только в том, что он оказался диктатором и деспотом. Сталин был слуга, слуга нового класса – партократии, порожденной большевизмом. Он вовремя понял, кто логически становится хозяином страны, и сумел подчиниться этой логике. Подчинившись же интересам партократии, возглавил и ее, и всю страну.

Отец считал, что партократия выработала даже определенные приемы власти, своего рода «советский макиавеллизм». Он отмечал, что партократия может при желании проявлять высокие организаторские способности, например, во всем, что касается ее личного быта и благополучия. По отношению же к народу такая задача попросту не ставилась, так как полуниними легче управлять. Значит, полуголодное или полусытое состояние народа – тоже не случайность!

Отец специально читал Макиавелли, прослышав, что это чуть ли не настольная книга Сталина. При этом по писательской привычке сдвигал некоторые акценты, словом, оценивал книгу применительно к нашим дням. Помню его слова о «внешнем враге». Если у народа тако-

вого не было, правитель обязан был его придумать и убедить своих соотечественников в том, что, не будь «крепкой власти», враг этот давно бы извел всех жителей. Сюда же относился и непомерный, доведенный до абсурда, до неприличия культ вождя. И странно – это срабатывает!

Может быть, подсознательно сказывалось давление авторитарных традиций. Государственному и общественному мышлению вообще свойственна односторонность. Причем в этом отношении XX век, похоже, превосходит предыдущие столетия.

Писатель Николай Атаров однажды вспоминал о совместной работе с отцом в журнале «Наши достижения» в начале 1930-х годов. Тогда там, «под крылышком Горького», собралась веселая компания молодых очеркистов

– Мы все были загипнотизированы магией больших чисел, – говорил Атаров. – То было время реализации больших хозяйственных планов. В нашем сознании все сильнее укреплялась мысль, что во всех начинаниях нужно идти от общего к частному, что общество должно безраздельно господствовать над личностью. Паустовский был, пожалуй, единственным, кто говорил, что такой «односторонний» подход может привести к краху всех монументальных начинаний, что каждая химическая реакция начинается на уровне молекул. Нужно учитывать волю и мнение личности, научиться идти и от частного к общему. Нельзя бросать вызов культуре. Для этого надо избегать односторонности.

Это высказывание Атарова вспомнилось в связи с распространенными ныне оценками исторического пути страны. «Оружием» культуры является объективность и правильное соблюдение пропорций. Сравнительно недавно прошлое страны было принято красить лишь черной краской, а советский период – ярко-розовой. Ныне – такой же крен в другую сторону. Все советское ужасно, прошлое – прекрасно. Выходит, уроки культуры ничему не могут нас научить и мы по-прежнему согласны блуждать в потемках.

Уверен, отец никогда не одобрил бы утверждения, что старая Россия, «которую мы потеряли», будто бы была страной справедливости, порядка и достатка. В спорах он, впрочем, во многом соглашался с подобными доводами, но неизменно добавлял: «Не забудьте, что при этом она была также классической страной каторги и ссылки. Правда, советская власть не улучшила положения. Напротив, довела его до высокой степени совершенства. Ее по праву можно уже назвать не только каторжной и ссылкой, но и лагерной, и расстрельной...»

Существенным новшеством советского режима Паустовский считал создание «имиджа» свободного и самого справедливого государства, тогда как монархическая Россия несла клеймо своей «тюремности», не стремилась выглядеть лучше, чем была. Она без энтузиазма относилась к «сознанию писателя», но на управление литературным процессом не претендовала. Все содействие ограничивалось цензурой и лишь – в отдельных случаях – ссылкой. Но все это не мешало русской литературе занять подобающее, если не главенствующее, место в процессе мирового культурного развития XIX века. Процесса глубоко гуманистического. Не случайно именно его итоги позволяют говорить о «сознании писателя» как о новом самостоятельном понятии. Причем среди писателей того времени почти не было ренегатов, «отказников», жертвовавших этим понятием ради услужения господствовавшим государственным взглядам. Такие литераторы обильно появились в советское время, причем объяснялось это очень просто – стремлением к личной безопасности и желанием не упустить своего куса жирного пирога. Они-то и создавали тот пресловутый «имидж» передового, процветающего общества, который закрепился в «массовом сознании», способствуя его искажению и духовному обнищанию...

Константин Паустовский не прекращал трудиться над дальнейшими частями «Повести о жизни» и хотел довести жизнь своего героя до 1960-х годов, говорил, что впереди видит «еще несколько книг такого же рода». В интервью одной из газет в июле 1966 года он скажет:

«...продолжаю работать над седьмой книгой автобиографической повести. Она охватывает период с 1932 года и до начала войны, то есть до 1941 года. Объем ее примерно двенадцать печатных листов.

Страницы этой книги будут посвящены встречам... с Гайдаром, Луговским, Казакевичем, Шагинян. Надеюсь, в последующих автобиографических книгах дотяну до наших дней...»

В интервью для другой газеты добавит: «...вот только сейчас, в 1966 году, через двадцать один год я дошел до седьмой книги, когда мне уже стукнуло 74 года. Я еще не знаю, как назову эту книгу. Во всяком случае она будет говорить о самом важном, что дал мне жизненный опыт, о самом страшном, что я пережил на земле, и о самом благородном, светлом и нежном, что только мне встретилось на пути».

Название для книги им было все же выбрано – «Ладони на земле».

Вадим Паустовский

Воспоминание слишком давит плечи,

Я о земном заплачу и в раю...

Марина Цветаева

Последняя встреча

Я очень долго добирался от Тифлиса до Киева.

В Киев поезд пришел к вечеру. Был широкий разгар весны, цвели каштаны, на Куполах Владимирского собора горел горячий блеск заката, нарядно шумел Крещатик. И тем беднее и опустошеннее показалась мне комнатка, где жили мама и сестра Галя.

Прошло больше двух лет с тех пор, как я уехал из Киева в Одессу, а потом в Тифлис. За это время мама и Галя постарели, но стали спокойнее.

При каждой возможности я посылал маме деньги и все время мучился, что денег мало и доходят они с перерывами. Но мама не жаловалась. Я убедился, что характер у нее действительно был стоический.

– Костик, – сказала она после первых слез и первых беспорядочных расспросов, – мы с Галей нашли прекрасный способ жить без больших затрат и огорчений.

– Какой же это способ?

– Посмотри на комнату – и ты поймешь. Я осмотрел комнату. Стены ее были желтые, как в больнице, обстановка нищенская – две жидкие железные кровати, старый шкаф, кухонный стол, три расшатанных стула и висячее зеркало. Все это было покрыто серым налетом, будто от пыли. Но никакой пыли не было. Серый цвет вещам придавала старость и непрерывное вытирание их тряпками.

– Знаешь, – сказала Галя и болезненно улыбнулась в сторону окна, откуда падал солнечный свет. – Знаешь, мы даже сделали с мамой ремонт.

Я еще не успел спросить маму наедине, как у Гали со зрением, но понял, следя за ней, что она уже настоящая слепая, совсем слепая. Мама показала мне глазами на Галю, торопливо вытащила из рукава старой вязаной кофточки маленький платок и прижала к глазам.

– Мама, – спросила испуганно Галя. – Ты что? Плачешь?

– От радости, – ответила мама срывающимся голосом. – Костик приехал, и мы опять все вместе. Мы с тобой опять не одни.

– Костик приехал, – медленно повторила Галя. – Приехал! Мой брат, – неуверенно добавила она, как будто представляя меня кому-то. – Да, мой брат!

Она помолчала.

– Костик, ты знаешь, мы долго спорили с мамой, в какой цвет выкрасить стены. И покрасили в оранжевый. Правда, красиво?

– Очень красиво, – ответил я, глядя на стены, покрытые дешевой желтой краской. – Очень.

– Мама говорит, что даже в пасмурный день к нам в комнату как будто светит солнце. Правда?

– Правда, – ответил я. – Очень яркий и радостный цвет у этих стен. Где вы нашли такую хорошую краску?

– Я уже ничего не вижу, – сказала Галя и опять улыбнулась не мне, а куда-то в сторону, – но я чувствую, как от стен просто тянет теплом.

Она медленно пошла ко мне, придерживаясь за грубый кухонный стол. Я поднялся ей навстречу. Она дотронулась до моих пальцев, провела кистью по моей руке к плечу и коснулась щеки.

– Ой, какой ты небритый! – сказала она и засмеялась. – Я наколола пальцы. Я уже не делаю цветов из материи. Не вижу. Теперь наша соседка-вязальщица дает мне сматывать гарусные нитки в большие клубки. Она мне платит по два рубля за каждый клубок.

– Когда Галя наматывает гарус, – сказала мама, – я ей читаю. Теперь ты понял, Костик, как мы живем? – Да, я понял, – ответил я, стараясь не выдать своего волнения, – Я все понял.

– Мы, – сказала мама, – продали все лишнее, все ненужные вещи.

– На Житном базаре, – добавила Галя. – Зачем нам, например, самовар. Или старые бархатные альбомы с фамильными фотографиями. У нас их было четыре. Они лежали много лет на хранении у пани Козловской.

Пани Козловская была ветхая и тихая старушка – давнишняя приятельница мамы.

– Все карточки я оставила, – заметила, как бы оправдываясь, мама.

– Маме повезло. Она и не думала, что кто-нибудь купит теперь эти альбомы.

– И кто купил, представь себе, – вмешалась мама. Она оживилась и даже засмеялась, – Какой-то монах из Братского монастыря. Он взял все четыре альбома. Ему они были нужны. Вот догадайся, Костик, зачем?

Я догадаться, конечно, не мог.

– Бархатные переплеты очень тяжелые, – объяснила мама. – Из них получились хорошие, прямо роскошные крышки для библии. Монах их распродал по сельским церквям, а мы избавились от хлама. Так спокойнее жить. Я всю жизнь говорила, что вещи берут у нас все силы и мучают нас. Они заставляют нас работать на себя, как поденщиц. В общем, – сказала мама, как будто прекращая затянувшийся спор, – так легче жить. Мы свели свои потребности к самому малому.

Мама сказала это с легким оттенком гордости.

– А что со старухой? – спросил я Галю. – Той, что покупала у тебя цветы для Байкова кладбища?

– Умерла эта старуха. Я сделала на ее могилу венок из одних только ромашек.

– Замечательный венок, – вздохнула мама. – Последний. Я сейчас разогрею обед, а потом ты нам все расскажешь про себя. Хорошо? Посидите пока в комнате у Амалии. Или на балконе, на воздухе.

Я взял Галю под руку и повел ее через комнату Амалии на балкон. Амалии не было дома. Галя шла по полу, как будто переходила мелкую реку, нащупывая ногой дно.

Мы сели с ней на балконе. Он выходил в сторону Ботанического сада. Изредка по Биби-ковскому бульвару проползал, повизгивая, трамвай. На площади Владимирского собора меж больших булыжников уже выросла высокая трава.

Приближался вечер. Закатный свет, отраженный множеством оконных стекол, наполнял улицу.

– Костик, – спросила Галя, – ты, правда, напечатал несколько своих рассказов?

– Откуда ты знаешь?

– К нам как-то зашла Гильда, сестра Эммы Шмуклера. Ты ее помнишь?

– Как же! Такая длинная, нескладная.

– Ну, сейчас она, говорят, красавица. Не узнаешь. Так вот она и рассказала об этом. Что же ты нам их не прислал?

– Я привез их с собой.

– Так слушай, – таинственно сказала Галя, – ты положи их на мамину постель, на подушку, а сам ничего ей не говори. Ты знаешь, теперь это ее единственная мечта, чтобы ты стал настоящим писателем. Недавно мама сказала про тебя, что если ты сделаешь хоть немного хорошего для людей, то этим искупишь – так она и сказала «искупишь» – все ошибки отца. Скажи, пожалуйста: то, что ты пишешь, может помочь людям, чтобы они меньше страдали? Как ты думаешь?

Хлопнула парадная дверь.

– Спрячься, – быстро сказала Галя, – Это Амалия. Вот она удивится!

Я спрятался за кадку с большим олеандром. Амалия вошла, остановилась перед трюмо, подняла руки и устало поправила свои все еще красивые волосы.

– Я сижу у вас, – сказала Галя, – потому что мама жарит котлеты. И у нас чад.

Амалия усмехнулась и спросила:

– А где же он?

– Кто? – испуганно спросила Галя.

– Где он? – повторила Амалия. – Костик. В передней висит его плащ.

Тут она увидела меня, схватила за руку, вытащила на середину комнаты, обняла за шею и поцеловала несколько раз крепко и звонко, как целуют крестьянки.

Я сделал так, как мне посоветовала Галя, – положил вечером на мамину подушку три моих рассказа, вырезанных из газет, где они были напечатаны. Мама в это время возилась на кухне.

Я, конечно, струсил и тайком ушел в город. Бродя по улицам, я все время гадал, – прочла ли мама рассказы или еще нет. Наконец я не выдержал и вернулся домой.

Дверь открыла мне мама. Она взяла в ладони мою голову и крепко поцеловала в лоб. Глаза у нее были заплаканы.

– Если бы ты знал, – сказала она, – какие вещи я сейчас прочитала! Спасибо тебе, Костик. От всех нас, – и от отца, и от братьев, и от нашей несчастной Гали.

Мама не могла говорить. Она села на табурет в передней.

– Дай мне воды, – попросила она.

Я принес из кухни кружку воды и дал ей напиться.

– И это мой сын, – сказала она почти шепотом и погладила мои руки. – Мой Костик!

– Ну что ты, мама! – сказал я, пытаюсь ее успокоить. – Я останусь здесь, с вами.

– Не надо! – твердо ответила мама. – Иди своей дорогой. Только, смотри, не забывай нас. Внезапно она сжалась в комок и зарыдала. Я обнял ее и прижал к себе.

– Если бы был жив отец, – сказала она, глотая слезы. – Если бы он был жив! Как бы он был счастлив. Он был чудный человек, Костик. Самый чудный человек на свете. Я ему все простила. И ты его прости. У тебя была тяжелая молодость. Теперь мне и умереть не страшно. Но обещай, что, если я умру, ты возьмешь к себе Галю.

Я обещал ей это, но все случилось совсем не так, как ожидала мама. Она не увидела даже моей первой книги. Жизнь распорядилась с ней и с Галей круто и несправедливо.

Как-то летом я уехал в Потю, в Колхиду, готовился писать книгу о субтропиках. В Потю я заболел каким-то «синим» сыпным тифом, долго лежал в больнице, долго боролся со смертью, а в это время мама умерла в Киеве от воспаления легких. Через неделю умерла Галя. Без мамы она не могла прожить даже нескольких дней. Отчего она умерла, никто не знал, и выяснить это не удалось.

Амалия похоронила маму и Галю рядом на Байковом кладбище в страшной тесноте сухих заброшенных могил.

С трудом я нашел их могилы, заросшие желтой крапивой, – две могилы, слившиеся в один холм, с покоробленной жестяной дощечкой и надписью на ней: «Мария Григорьевна и Галина Георгиевна Паустовские. Да покоятся с миром!»

Я не сразу разобрал эту надпись, смытую дождями. Из трещины в дощечке тянулся бледный, почти прозрачный стебелек травы. И странно и горько было думать, что это – все! Что этот стебелек – единственное украшение их тяжелой жизни, что он – как болезненная улыбка Гали, как маленькая слеза из слепых ее глаз, застрявшая на ресницах, – такая маленькая, что никто и никогда ее не увидит.

Я остался один. Все умерли. Мать, давшая мне жизнь – не напрасную и не случайную, – лежала здесь, под глинистой киевской землей, в углу кладбища, рядом с полотном железной

дороги. Сидя у могилы, я чувствовал, как содрогалась земля, когда проносились тяжелые поезда. Должно быть, и там, в могиле, мама тревожилась обо мне, как тревожилась в жизни. Она часто смотрела мне в глаза и спрашивала:

– Ты ничего от меня не скрываешь, Костик? Смотри. не скрывай. Ты же знаешь, что я готова пойти на край света, чтобы тебе помочь.

Полевая тишина

Тогда, в августе 1923 года я вернулся из Киева в Москву.

Денег у меня оставалось на месяц полуголодной жизни. Надо было искать работу в московских газетах. Но вместо этого я, измученный недавней закавказской жарой, мечтал о сырых рощах и прохладных реках Средней России, мечтал непременно съездить, хотя бы ненадолго, в какую-нибудь деревенскую глушь. Кроме того, я хотел, начиная новую полосу жизни, попрощаться – и теперь уже навсегда – со старой деревней. Я знал ее воочию, а не только по рассказам Чехова и Бунина.

Прощаться мне помог случай. В Москве я на время поселился в Гранатном переулке у прежней своей хозяйки, в комнате жильца, уехавшего в командировку.

В квартире все еще жила моя соседка по семнадцатому году – веснушчатая курсистка Липочка. Она никак не могла окончить медицинский институт.

К Липочке, как и пять лет назад, приезжали из рязанской деревни земляки, привозили мед и яблоки, а увозили все, что бог дал раздобыть в Москве, – даже паклю и пачки старых газет на раскурку.

Отец Липочки был сельским священником под Рязанью. Это обстоятельство Липочка тщательно скрывала, но я случайно узнал об этом еще в семнадцатом году. При мне Липочка насмешливо называла отца «мой попик».

К нему, по совету Липочки, я и поехал пожить две-три недели.

Ока разделяет Рязанскую область на две обособленные части: северную – лесистую и болотистую и южную – полевую и овражную. Село Екимовка, где жил отец Липочки, лежало в южной части, среди бесконечных полей².

Я был огорчен, что еду в безлесные места. Но как только я вышел из теплушки на полустанке Стенькино за Рязанью, то тут же забыл о своем огорчении.

² Мне хочется рассказать о главной фигуре своей рязанской родни по материнской линии – Петре Александровиче Загорском (1861 – 1938). Екатерине Степановне Загорской, моей маме, он приходится родным дядей. Последние годы жизни Петр Александрович Загорский был протоиереем (главным священнослужителем) знаменитого Успенского собора в Рязани, что построен еще в XVII веке выдающимся русским зодчим того времени Бухвостовым. В более раннее время Петр Александрович имел приход в деревеньке Екимовке, куда в 1923 году после скитаний по югу, охваченному гражданской войной, приехали супруги Паустовские. Успенский храм в Екимовке, разрушенный в годы советской власти, недавно восстановлен и заново освящен в 1993 году. Особо хочу остановиться на жене П. А. Загорского, так сказать, попадье – Анне Матвеевне Загорской, урожденной Зачатской (1868 – 1932). Высокая, красивая, властная, она, по сути, вела все семейство. Ее мы называли Бабуля. Она была крестной матерью сестер Елены и Екатерины Загорских, а это в духовной среде означало очень многое. Фактически она взяла на себя все родительские функции по отношению к осиротевшим девочкам. Заботилась о них, содержала, отдавала в епархиальное училище, словом, растила и выводила в жизнь. Бабулю мой отец ценил за многие свойства характера – незаурядный ум, настойчивость в сочетании с тактичностью, чувством юмора, которое она умело маскировала за внешней серьезностью. Отец считал ее воплощением типа рязанской женщины. Теперь – о маме. Она также родилась на Рязанщине, в селе Подлесная Слобода, что находится между Луховицами и Зарайском. Отец ее Степан Александрович Загорский был здешним священником, мать Мария Яковлевна – сельской учительницей. И церковь и здание школы сохранились до наших дней, правда, церковь сильно обветшала. Паустовский не застал в живых родителей невесты. Степан Александрович умер еще до рождения младшей дочери. Мария Яковлевна последовала за ним через считанные годы. Фактически моя мать воспитывалась своей старшей сестрой Еленой Степановной Загорской, которую очень ценил мой отец. Незамужняя Елена Степановна была «покровителем» брака моих родителей, и молодые супруги постоянно гостили у нее в городке Ефремове, где она преподавала в гимназии. Леля отличалась пытливым умом и, как говорил отец, «дисциплинированностью мысли». Это качество он также старался перенять у нее. Общим у него с ней была и любовь к странствиям. Леля, несмотря на свой скромный заработок, сумела объехать пол-Европы. Для любознательных учителей в ту пору это облегчалось существованием особых обществ, осуществлявших льготные поездки для педагогов. Впрочем, она больше любила ездить самостоятельно. После нее сохранилось много зарубежных проспектов и альбомов с открытками, которые я любил разглядывать в детстве. Большим ударом для моих родителей, сказавшимся на их дальнейшей жизни, стала неожиданная смерть Лели от скоротечного сыпного тифа. Это случилось в разгар гражданской войны, когда отец и мама находились за линией фронта, в Киеве. Мои родители после возвращения из Тифлиса почти сразу поехали в Екимовку. Но отец вскоре отправился в Москву искать работу, мама осталась в Екимовке.

В лицо мне подуло теплым воздухом ржи. Полевая тишина, не задетая ни единым звуком, кроме отдаленного гудка уходящего поезда, подошла вплотную.

Я немного постоял под старыми вязами на платформе и услышал давно позабытый запах дегтя от тележных колес. К одному из вязов была привязана телега. Серый мерин дремал, подрагивая сухой кожей,

Телегу выслал за мной отец Липочки. Возница – мальчишка лет двенадцати, по имени Влас – конопатый и хмурый, – всю дорогу старательно хлестал мерина по впалым бокам. На мои вопросы Влас отвечал только одно: «Откуль я знаю».

Мы долго ехали молча. Потом Влас собрался, наконец, с духом и сказал:

– Батюшка наш, отец Петр, вдовый. Старенький и глуховатый. А мерина этого ему ссудил председатель. Из комитета бедноты.

Вскоре над шелестящим морем ржи возникли белая колокольня и зеленый купол церкви. Крест на куполе покосился и был готов вот-вот свалиться. На нем сидели, толкаясь и склочничая, воробы.

Дом отца Петра стоял за селом, вблизи церкви. Он так зарос бузиной и одичалой сиренью, что виднелось только крылечко.

Отец Петр вышел в старом чесучевом подряснике. Низенький, с тощими косицами седых волос на затылке, он заглядывал мне в лицо водянистыми глазами и говорил, шепелявя:

– Спасибо, не побрезговали навестить старика. Житьишко у нас скудное. Но, как говорится, «буду есть мякину, а Екимовки не кину». Отдыхайте. Воздух у нас. богатый.

И я поселился в доме, где весь день копошился глуховатый старик. \

– Уж и не знаю, – говорил он тоном заговорщика, – почему не тронули меня, раба божьего? Или снизошли к престарелости моей? Или оттого, что приход этот – нищенский, бездоходный? Самый никудышный приход в Рязанской епархии. Только садом да картохой я и живу. Яблони – все перестарки. Плод имеют махонький, червивый. И цена этим яблочкам – две копейки за меру. Липочка, вот, помогает, а то давно бы меня сволокли на погост.

В доме было сумрачно, прохладно. Дряхлая чистота поселилась здесь, видимо, давно. Некрашенные выскобленные полы казались седыми.

Пахло лампадным маслом. За киоты были заткнуты пучки сухого зверобоя. Книг не было, кроме Часослова и зачитанного романа Засодимского «Хроника села Смурина». Чернила в баночке заросли белой плесенью.

Главным обитателем дома, как и окрестных полей, была оцепенелая тишина. Изредка ее нарушало уверенное гудение шмеля. Он облетал комнаты, как владелец. Насердившись и наворчавшись, он с облегчением вылетал в распахнутое окно, в зной и лазурь уснувших полей.

Шмель улетал, и снова возвращалось безмолвие. Отец Петр тихонько прокашливался и запевал дрожащим тенорком: «Объяли мя муки смертные, и потоки беззакония устрашили мя», но тотчас спохватывался и замолкал, боясь меня обеспокоить. И снова тишина. Только ветер иногда прошумит по саду и подымет на окошках ситцевые занавески.

Я отдыхал в этой скудной обители. Мысли подолгу задерживались на всем, что происходило вокруг. Я испытывал непрерывную радость от близости к земле, к России. Тогда я полностью почувствовал, что она действительно моя. Великие судьбы и потрясения ждали ее. Это было ясно всем, даже недалекому отцу Петру. Я же твердо знал, что прелесть ее полей, ее далей, ее небес всегда останется удивительной и неизменной.

Около дома раскинулся сад, разросшийся по своему усмотрению и потому особенно живописный. Огромные лопухи, похожие на слоновьи уши, росли рядом с крапивой в человеческий рост,

Днем сад вяло опускал листья. Август стоял жаркий. Я радовался самой малой тени от облаков, величаво проносивших в вышине свои белоснежные громады. Но все же жара была мягкая, совсем не такая изнурительная и зловещая, как в Закавказье.

Зато каким роскошным, тенистым, зачарованным и полным дыхания бурьяна становился сад к вечеру! Какие свежие воздушные волны заполняли его к ночи и оставались в нем до утра!

Туманно светил в конце сада закат. Протяжно пел, замирая за речкой Павловкой, пастуший рожок.

Отец Петр зажигал в зальце кухонную лампочку, и день сменялся успокоительной ночью.

Пожалуй, лучше всего в Екимовке были вечера – как бы нарочно созданные, чтобы показать певучесть женских и детских голосов, скликавших телят и гусей.

Каждый вечер соседская девушка Луша пригоняла на двор к отцу Петру бычка с влажными каштановыми глазами. Луша шепотом здоровалась и, боясь расспросов, убегала. Но все же я каждый раз замечал ее вспыхнувшее тяжелым румянцем лицо. Замечал мгновенный, как зарница, любопытный взгляд из-под пыльных ресниц.

Когда Луша убегала, отец Петр говорил:

– Крестница моя. Возросла в этой пустыне, как Марья-царевна.

Однажды к отцу Петру, очевидно узнав о моем появлении, приехал лукавый отец благочинный.

Он был оранжево-рыжий, носатый, говорил сиплым фальцетом, и ряса у него была разодрана на животе и задугу.

Он тут же сообщил, что устроил лаз в заборе своего сада, дабы внезапно прокрадываться с тылу и ловить мальчишек – «яблококрадов». Но лаз оказался узковат, и, торопясь пролезать в него, отец благочинный изодрал одеяние.

Отец Петр при виде благочинного онемел. Он только беспрерывно кивал, соглашаясь со всем, что говорил благочинный. А тот объяснял, что нужна большая политичность, чтобы оградить пастырей от всяческих бед и находиться в хорошем расположении с властями.

Потом отец Петр сходил куда-то неподалеку и принес бутылку мутного самогона. Он вонял керосином и гнилым хреном. Но отец благочинный выпил под вареную картошку два граненых стакана этой жидкости, тотчас захмелел и начал нести околесицу.

– После господина нашего Иисуса Христа и блаженных святителей церкви, – заговорил он, рыгая, – пуще всего уважаю большевиков. Люблю решительных мужчин. Поскольку сам прославлен на всю епархию отвагой. У меня разговор простой. Согрешит чего-нибудь вот такой попик гугнивый, я его – хватить за загривок и так единожды тряхану, что мозги у него разболтаются в крошку. Тогда тряхану вторично – и мозги станут на место! Других мер не применяю. Из сострадания.

Отец Петр поежился. Косицы его тряслись на затылке.

– Вот, скажем, сей глуховатый иерей отец Петр! Что с него взять? Соленый огурец да облезлую камилавку? Отец Петр хихикнул.

– Я безгрешен, – сказал он с опаской. – Мне намедни восьмой десяток пошел.

– Грехов на тебе, понятно, нету по дряхлости тела и убогости разума.

– Напрасно вы так говорите, – заметил я благочинному. – Отец Петр – добрый человек. Зачем его обижать.

– А он не обижается, – благочинный повернулся к отцу Петру. – Вот видите, кивает. Смирение пастырское предписывает ему сносить безропотно и глад и поношение. А вы, молодой человек, за пастырей заступались бы не здесь, в Екимовке, а там, в Москве, в Кремлевских палатах, где новые кесари пекутся о благе народа. Все хорошо у большевиков, все одобряю, кроме запрета держать лошадей и устраивать конские ярмарки. Я на коней был первый мастак от Рязани до Липецка. Ни одной ярмарки без меня не обошлось. Как взойду на ярмарку, так всех цыган-барышников будто корова слизнула. Крепко я им холки накручивал! А вы говорите, – большевики!

Отец благочинный внезапно замолк, опустил голову на грудь и страшно захрапел. Так прошло несколько минут.

– Срам! – сказал мне шепотом отец Петр. – Заметут его большевики! Ой, заметут!

– Не заметут! – неожиданно и совершенно спокойно ответил отец благочинный, открыл глаза и оглушительно чихнул. – Не радуйся, отче Петр! – Он чихнул второй раз. – Как бы тебя самого не замели из Екимовки.

Благочинный чихнул в третий раз, потом – в четвертый, и вскоре зальца начала дребезжать и позванивать от его богатырского чиха.

Наконец благочинный отчихался, вытащил из кармана обширный красный платок, обстоятельно вытер лицо и сказал ясным голосом:

– У меня хмель выходит чихом. В каком бы опьянении я ни находился, а на двадцатом чихе я тверезый. Как стеклышко! Такая особенность!

Он встал, попрощался и напоследок сказал отцу Петру:

– Сиди! Никто тебя не тронет. Ни Советская власть, ни церковная. Христос, истинный бог наш и пречистая его мать услышат твои вопли и завывания, отче Петр.

Благочинный уехал, а отец Петр взял большие ключи от церкви и поплелся служить молебен, очевидно, по случаю избавления от благочинного.

Я пошел вслед за ним посмотреть церковь. Я в ней еще не был. Она делилась на зимнюю и летнюю. Зимняя была внизу. В сильные морозы ее протапливали. Летняя помещалась вверху, на втором этаже. Она была светлая, залитая сейчас солнцем. В его лучах розовела водянистая церковная роспись.

Отец Петр надел епитрахиль и начал служить. По глухоте своей он себя не слышал и потому то выкрикивал молитвы во весь голос, то бормотал их едва слышно, почти засыпая.

Я распахнул рассохшееся запыленное окно, сел на подоконник – и передо мной как бы промыли небо яркой водой. Облака тесно толпились от одного до другого края земли. Они плыли по выпуклому поднебесью, подергиваясь сизой тенью.

Отец Петр служил долго. Облака за это время начали громоздиться башнями, подножия их стали темнеть. Потом бледная вспышка огня озарила их до самой глубины. Над полями пролетел, наклонив к земле рожь, короткий ветер.

Но гроза не пришла. Должно быть, август уже потерял грозовую силу. Гроза уже не могла раскатываться по полям, неся столбы пыли, зловеще блистая, припечатывая дороги крупными вескими каплями.

На паперти отца Петра ждал костистый крестьянин Никифор – отец Луши.

– За Лушу сватается жених самостоятельный, – сказал он, не глядя на отца Петра. – Благословите сыграть свадьбу, батюшка.

– А кто таков? – спросил отец Петр. Он устал, и руки у него, когда он снимал епитрахиль, сильно тряслись.

– Портной из Сторожилова.

– Молод?

– Да так... годов пятьдесят, не боле.

– Человек-то хороший?

– А шут его знает. Обыкновенный. Закладывает маленько. А вот лицом вроде не вышел. Рябой. Да не квас же Лукерье пить с его ряшки. Правда, вдовец. Двое ребят на шее.

– Полюбовно выходит?

– Да, господи! – вскричал Никифор. – Мне-то, сам понимаешь, жалко ее портить. Одно соображение, – при зароботке он. Государственный портной. Моя старуха прямо Лукерью зубами грызет: выходи да выходи. Она у меня знаешь какая старуха. Зрак у нее завидный на все.

– Да уж знаю, – вяло согласился отец Петр. – Дело ваше, родительское.

Мы спустились с паперти. Отец Петр брел, опираясь на посошок.

Снова вдали в темном облаке мигнул бледный свет.

– Как вы думаете, – спросил я отца Петра, – Луша любит его или нет?

– Какое там – любит! – с сердцем ответил отец Петр. – Да все равно, пора выходить. Дело крестьянское.

Отец Петр помолчал и заговорил, что скоро начнут убирать хлеб. Из Рязани, рассказывают, придут новые советские косилки. Они весь клин до самого Стенькина уберут, рассказывают, за один день. Какие только чудеса даст бог увидеть на свете!

В Екимовке работали почти одни женщины. Мужчины уходили на заработки в соседние города – Михайлов, Рязань, Пронск, Коломну, в самую Москву. Они приезжали в Екимовку только в пору горячих полевых работ. Кое-кто привозил семьям гостинцы. После побывки мужей женщины ходили в новых баретках, а ребята с утра до вечера дудели в свистульки и верещали трещотками.

Работа для женщин была непосильной. После революции наделы выросли, помещичьи и монастырские земли отошли к крестьянам, и управиться со всей этой землей было трудно. Машин в то время почти не водилось. Хлеб и сено убирали вручную.

Всей сельской жизнью управлял комитет бедноты. Ему беспрекословно подчинялись. Но все же полагалось ругаться с председателем комитета, бывшим солдатом по прозвищу «Один момент». Для него не существовало трудностей, и любое дело он решал быстро, приговаривая: «Это мы – мигом! Один момент!»

Прощание мое с деревней затянулось. Я медлил возвращаться в Москву, боясь неизвестности.

Но все же надо было в конце концов уезжать.

До Рязани ехала со мной Луша, – мать послала ее в город купить марли на подвенечную фату.

До полустанка Стенькино мы шли с Лушей полями и всю дорогу молчали. Поверх линялого ситцевого сарафана Луша надела тесную черную жакетку, русые косы подвязала белой косынкой и шла, почти не подымая глаз от смущения.

По небу однообразно тянулись синеватые холодные тучи. Луша задевала подолом подсохшие по осени травы. Только цикорий и дикая рябинка – желтая, как горчица, – еще не увядали и безмятежно и ярко дожидались ненастья.

Я старался запомнить все: каждый сжатый колос, блестящий слюдой на стерне, каждый короткий взгляд Луши – вопросительный и несмелый. Мне казалось, что она хочет спросить меня о чем-то, но не решается. И я, признаться, был рад, что она ни о чем меня не спрашивает.

О чем она могла спросить? Выходить ли ей замуж? Я бы начал ее отговаривать и наговорил бы, наверное, много такого, чего бы она не поняла. А если бы и поняла, то испугалась.

В этой простой девушке с шершавыми маленькими руками, в ее стремительной улыбке, в наклоне ее лица – покорном и нежном – было столько неясного обещания любви для кого-то еще неизвестного, но совсем не для того, за кого ее выдавали, что идти с ней рядом было и грустно и радостно. Всю дорогу мне почему-то хотелось заботиться о Луше, прикрывать ее от резкого ветра, дувшего в спину. Чем дальше мы шли, тем она все чаще поправляла под косынкой светлый локон.

В теплушке мы сели на дощатые нары. Знакомые поля нехотя поползли мимо. Вагоны погромыхивали на стыках. Мальчишка в новом картузе пронзительно свистел на губной гармонике.

Я занозил ладонь о неструганую доску нар. Луша испугалась. Она осторожно вытаскивала занозу и совершенно по-детски зализала ранку языком.

Расстались мы в Рязани на товарной станции. Все пути были засыпаны шелухой от подсолнухов. Ходили, матерясь, маслянистые кочегары. В липах у переезда орали галки.

Я пожал ее маленькую твердую руку, и Луша ушла, не оглянувшись. Но уходя, она все время, как и в полях, нервно поправляла косынку на растрепавшихся косах.

Я хотел окликнуть ее, но не окликнул. Потом я долго ждал поезда на Москву и курил дешевые пересохшие папиросы.

Много лет спустя я еще раз увидел Лушу, – ее лицо и всю ее, похожую на стройную ветку. Это было страшно далеко от Рязани, в Северной Италии, в цветущей долине Аосты, замкнутой снеговыми вершинами Альп.

Луша стояла на высоком каменном постаменте у перекрестка дорог, чуть склонившись и глядя с улыбкой на цветы, что положил кто-то к ее ногам.

Неизвестный скульптор, вырезавший эту мадонну из дерева, чуть прокрасил алой краской ее щеки. У мадонны был тот же застенчивый румянец, какой я часто видел у Луши.

Ветер с гор дул ей в глаза, колыхал платье. У нее не было на руках младенца. Она была еще непорочна. И эта прелесть непорочности делала итальянскую мадонну подругой крестьянской девушки Луши из села Екимовка Рязанской области.

«Четвертая полоса»

После возвращения из Екимовки я долго бродил по разным московским редакциям в поисках работы.

Однажды я встретил в редакции «Гудка» Виктора Шкловского. Он остановился передо мной и сердито сказал:

– Если хотите писать, то привяжите себя ремнями к письменному столу. Старших надо слушаться!

– У меня нет письменного стола.

– Тогда к кухонному! – крикнул он и исчез в соседней комнате.

Слова о ремнях Шкловский сказал просто так, наугад. Мы с ним не были еще знакомы.

В комнате, где исчез Шкловский, сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве – сотрудники «Гудка» Ильф, Олеша, Михаил Булгаков и Гехт. Склонившись над столами и посмеиваясь, они быстро писали на узких полосках газетной бумаги.

Редакционная эта комната называлась странно: «Четвёртая полоса». В простенке висела ядовитая стенная газета «Вопли и сопли».

В этой комнате готовили последнюю, четвертую полосу (страницу) газеты «Гудок». На этой полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один читатель, конечно, не узнал бы своего письма.

Сотрудники «Четвертой полосы» делали из каждого письма короткий и талантливый рассказ, – то насмешливый, то невероятно смешной, то гневный, а в редких случаях даже трогательный. Неподготовленных людей ошеломяли самые заголовки этих рассказов: «Шайкой по черепу», «И осел ушами шевелит», «Станция Мерв – портит нерв».

Сам редактор «Гудка» без особой нужды не заходил в эту комнату. Только очень находчивый человек мог безнаказанно появляться в этом гнезде иронии и выдерживать перекрестный огонь из-за столов.

В то время никто еще не подозревал, что в этой комнате собралась «могучая когорта» (так они себя шутливо называли) молодых писателей, которые вскоре завоеуют широкую известность.

В эту комнату иногда заходил «на огонек» Бабель. За ним учтиво входил Василий Регинин. В то время он редактировал новый журнал «Тридцать дней». Стоя на пороге и как бы боясь войти, Регинин начинал быстро рассказывать последние анекдоты. Часто шквалом врвался Шкловский и с жестоким напором прославлял Стерна и Велемира Хлебникова.

Далеко не каждого принимали в этой комнате приветливо. Халтурщиков встречали злобещим молчанием, а бахвалов и крикунов – ледяным сарказмом.

Мирились только с одним старым и хрипучим халтурщиком-репортером по прозвищу Капитан Чугунная Нога. У него действительно была искусственная железная ступня. Однажды он наступил на ногу кроткому писателю Ефиму Зозуле, и тот около месяца пролежал в больнице. Поэтому, когда капитан входил, все тотчас поджимали ноги под стулья.

Я попал в эту страшную комнату вскоре после приезда из Екимовки. Меня встретили спокойно, должно быть потому, что я водил дружбу с Бабелем. Для сотрудников «Четвертой полосы» он был бесспорным авторитетом.

– Творятся неслыханные дела! – говорили они. – Из Одессы прибыл выдающийся писатель Пересыпи и беззаветный красный конник Исаак Ги де Бабель Мопассан!

Под этой насмешкой скрывалась любовь к Бабелю и даже гордость им. Считалось, что он один знал на ощупь вес каждого слова.

Когда Бабель входил, он долго и тщательно протирает очки, осыпаясь градом острот, потом невозмутимо спрашивал:

– Ну что? Поговорим за веселое? Или как?

И начинался неистощимый разговор, который сотрудники «Гудка» прозвали «Декамероном». Это было похоже на волшебную нитку в сказке (может быть, такой сказки нет и такой нитки тоже нет, но это не имеет значения). Нитку эту надо было отыскать в огромной куче других разноцветных свалывшихся ниток, потянуть за нее – и она начинала вытягивать за собой то красные, то серебряные, то синие и желтые нитки, а потом и запутавшиеся в нитках сосновые шишки, позеленевшие патроны, ленты, орехи и всяческие как будто ненужные, но интересные вещи.

Такая невидимая и несуществующая золотая нитка как бы лежала в ящике стола у кого-нибудь из сотрудников – у Ильфа или Олеси. Лежала до тех пор, пока в комнате не появлялся интересный собеседник. Тогда ее вытаскивали из ящика, и она как бы тянула за собой неистощимую вереницу рассказов.

Досадно, что в то время никто не догадался записывать их, хотя бы коротко. То был шипучий фольклор тех лет.

Я знал мастеров устного рассказа – Олешу, Довженко, Бабеля, Булгакова, Ильфа, польского писателя Ярослава Ивашкевича, Федина, Фраермана, Казакевича, Ардова. Все они щедрые, даже расточительные люди. Их не огорчало то обстоятельство, что блеск и остроумие их импровизаций исчезают почти бесследно. Они были слишком богаты, чтобы жалеть об этом.

К суткам следовало бы прибавить еще несколько часов, чтобы мы могли записать эти неожиданные устные рассказы. Записать, конечно, сверх того, что мы пишем «от себя».

Самый плодовитый писатель (не считая Бальзака) не может работать свежо и в полную силу больше четырех-пяти часов в сутки. Несправедливо, конечно, что писателю не дана возможность продлевать свою жизнь до того времени, когда он напишет все, что задумал. Обычно писатели успевают написать небольшую часть того, что могли бы.

Извините, я, как всегда, отвлекся.

Я уже говорил, что после приезда из Екимовки начал заходить в «Четвертую полосу» «Гудка». Там мне давали кое-какую работу.

Там я неожиданно встретил Евгения Иванова, нашего одесского Женьку Иванова, бывшего редактора «Моряка». Он носил все ту же мятую, как у адмирала Нахимова, морскую фуражку. Он расцеловался со мной, рассказал, что редактирует в Москве новую морскую и речную газету. Называется она «На вахте»³, и редакция ее помещается этажом выше,

Тут же Женька предложил мне работать в этой газете секретарем⁴. Я согласился, хотя и заметил Иванову, что название газеты мне не нравится. Что это за название – «На вахте», «На стреме», «На цинке», «На подхвате»!

Иванов не обиделся. Он принял мои слова за обычное зубоскальство.

«Гудок» и «На вахте» помещались во Дворце Труда на набережной Москвы-реки около Устьинского моста.

³ К названию газеты автор «Книги скитаний» относился с иронией: «а почему не На стреме, не На цинке, не На подхвате?» Вместе с тем в этой же газете 3 декабря 1924 года сам помещает очерк под раскритикованным названием «На вахте».

⁴ В нашей домашней библиотеке есть тоненькая книжечка М. Ермолина с автографом автора К. Паустовскому. Книжечка выпущена в 1925 году, она открывает выпуски «Библиотеки газеты „На вахте“». Книге Ермолина предпослано предисловие Константина Паустовского, которое стало его первой книжной публикацией. В этом же 1925 году в восьмом выпуске той же библиотечки будет напечатана первая его книга „Морские наброски“. Сохранилась запись отца о Ермолине: «М. Н. Ермолин – капитан дальнего плавания, пьяница, редактор газеты „На вахте“... Водил пароходы в Персидский залив. Кладёз морских анекдотов».

До революции во Дворце Труда был Воспитательный дом – всероссийский приют для сирот и брошенных детей, основанный известным просветителем Бецким еще при Екатерине Второй.

Московские салопницы без всякой задней мысли называли Воспитательный дом «Вошпитательным». Таково было московское простонародное произношение.

Это был громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, парадными залами, домовою церковью и парикмахерской.

Чтобы обойти все это здание по коридорам, нужно было потратить почти час. Население Дворца Труда пользовалось коридорами, как дорожками для прогулок.

Во Дворце Труда мирно жили десятки всяких профессиональных газет и журналов, сейчас уже совершенно забытых.

Некоторые проворные молодые поэты обегали за день все этажи и редакции. Не выходя из Дворца Труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей всяких профессий, – работниц иглы, работников прилавка, пожарных, деревообделочников и служащих копиручета. Тут же они получали в редакциях гонорары и пропивали их в столовой на первом этаже. Там продавали пиво.

В столовой под низкими сводами всегда плавал слоистый табачный дым. Мы курили тогда дешевые папиросы «Червонец», – тонкие, как гвозди. Они были набиты по-разному – или так туго, что нужно было всасывать в себя воздух со страшной силой, почти до головокружения, чтобы добыть самую ничтожную порцию дыма, или, наоборот, так слабо, что при первой же затяжке папироса складывалась с противным щелканьем, как перочинный ножик. При этом пересохший табак высыпался в пиво или в тарелку с мутным супом.

На столиках в столовой стояли гортензии – шары водянисто-розовых цветов на голых длинных ножках. Эти цветы напоминали сухопарых немок с пышными бесцветными волосами. Вазоны с гортензиями были обернуты сиреневой папиросной бумагой и утыканы окурками.

Мы любили эту столовую. По несколько раз в день мы собирались в ней, пили рыжий остывший кофе и много шумели.

По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами и паром. Окурки из вазонов были убраны. Шипело старое отопление. За окнами над Замоскворечьем наискось летел снег.

Как-то я сидел таким утром в столовой и дописывал рассказ «Этикетки для колониальных товаров». Неожиданно вошел Бабель. Я быстро прикрыл исписанные листки газетой, но Бабель подсел к моему столику, спокойно отодвинул газету и сказал:

– А ну, давайте! Я же любопытен до безобразия.

Он взял рукопись, близоруко поднес к глазам и прочел вслух первую фразу: «Вам, между прочим, не кажется, что этот закат освещает отдаленные горы, как лампа?»

Когда он читал, у меня от смущения похолодела голова.

– Это Батум? – спросил Бабель. – Да, конечно, милый Батум. Раздавленные мандарины на булыжнике и хриплое пение водосточных труб... Это у вас есть? Или будет?

Этого у меня в рассказе не было, но я от смущения сказал, что будет.

Бабель собрал в уголках глаз множество мелких морщинок и весело посмотрел на меня.

– Будет? – переспросил он. – Напрасно. Я растерялся.

– Напрасно! – повторил он. – По-моему, в таком деле не стоит доверять чужому глазу. У вас свой глаз. Я ему верю и потому не позаимствую у вас ни запятой. Зачем вам рассказы с чужим привкусом. Мы слишком любим привкусы, особенно западные. У вас привкус Конрада, у меня – Мопассана. Но мы ведь не Конрады и не Мопассаны. Да, кстати, в первой фразе у вас три лишних слова.

– Какие? – спросил я. – Покажите!

Бабель вынул карандаш и твердо вычеркнул слова: «между прочим», «этот» (закат) и «отдаленные» (горы). После этого он снова прочел исправленную первую фразу:

«Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?»

– Так лучше?

– Лучше.

– Разные бывают лампы, – вскользь заметил Бабель. – А Батума нам не хватает. Помните тесный буфет в пассажирском пароходном агентстве? Когда запаздывал пароход из Одессы, мы приходили туда, сидели и ждали часами. Совершенно одни. А зачем – не знаю. На пристани были свалены сосновые доски. Скипидарные. По воде шлепал дождь. Мы пили потрясающий черный кофе. Щеки горели от морского зимнего воздуха. И на душе было грустно. Потому что красивые женщины остались на севере.

За нашей спиной прозвенела расшатанная стеклянная дверь. Бабель оглянулся и испуганно сказал:

– Спрячьте рассказ! Надвигается «могучая когорта».

Я успел спрятать рукопись. Вошли Гехт, Ильф, Олеша, Славин и Регинин.

Мы сдвинули столики, и начался разговор о том, что «Огонек» решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но все почему-то считали меня одесситом, очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам.

Бабель согласился написать для этого сборника предисловие.

Я знал еще по Одессе всех, кто сидел сейчас рядом за столиком. Но здесь они казались другими. Шум Черного моря отдалился на сотни километров, загар побледнел от зимних туманов. Кто знает, если бы все они не были пропитаны с детства морем, солнцем, причудливым бытом и южным весельем, то, может быть, из них не вышли бы писатели.

Особенно интересовал меня Ильф – спокойный, немногословный, со слегка угловатым, но привлекательным лицом. Большие губы делали его похожим на негра. Он был так же высок и тонок, как негры из Мали – самого изящного черного племени Африки.

Но больше всего поражала меня чистота его глаз, их блеск и пристальность. Блеск усиливался от толстых небольших стекол пенсне без оправы. Стекла были очень яркие, как будто сделанные из хрусталя.

Ильф был застенчив, прям, меток и порой насмешлив. Он ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких и уступчивых. – тех, кого легко обидеть. Как-то при мне в большом обществе он холодно и презрительно срезал нескольких крупных актеров, которые подчеркнуто замечали только его, Ильфа, но не замечали остальных – простых и невидных людей. Они просто пренебрегали ими. Это было после головокружительного успеха «Двенадцати стульев». Ильф назвал поведение этих актеров подлостью.

У него был микроскопический глаз на пошлость. Поэтому он замечал и отрицал очень многое, чего другие не замечали или не хотели замечать. Он не любил слов:

«Что же тут такого?!» Это был щит, за которым прятались люди с уклончивой совестью.

Перед ним нельзя было лгать, ёрничать, легко осуждать людей и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невежи приходили в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же.

Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались слишком резкими. Но почти всегда они были верными.

Однажды он вызвал сильное замешательство среди изощренных знатоков литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом опять молчат и опять спускают воду все с тем же ревом.

– Вот точно так же, – сказал Ильф, – и Гюго с его неожиданными и гремящими отступлениями от прямого повествования. Идет оно неторопливо, читатель ничего не подозревает – и вдруг, как снег на голову, обрушивается длиннейшее отступление – о компрачикосах, бурях в океане или истории парижских клоак. О чем угодно.

Отступления эти с громом проносятся мимо ошеломленного читателя. Потом все стихает, и снова плавным потоком льется повествование.

Я спорил с Ильфом. Мне нравилась манера Гюго. Я думал тогда – и думаю это и сейчас, – что повествование должно быть совершенно свободным, дерзким, что единственный закон для него – это воля автора. Писатель может менять ритм, характер и окраску повествования как ему будет угодно. Об этом и о многом другом мы говорили в сумрачной столовой.

Пришла мохнатая и будто заспанная зима. В два часа уже зажигали электричество. Снег за окнами становился синим. Уличные фонари желтели, и гортензии на столиках оживали и покрывались слабым румянцем.

Регинин утверждал, что цветы, как и люди, стали теперь неврастениками. Всем известно, что неврастеники мутно и расслабленно проводят день, а к вечеру веселеют и расцветают.

Однажды в столовую вошел со значительным и таинственным видом Семен Гехт.

Я познакомился с ним в редакции «На вахте». Он приносил туда очерки о маленьких черноморских портах. Не об Одессах, Херсонах и Николаевах, а о таких приморских городах, как, скажем, Аккерман, Очаков, Алешки, Голая Пристань или Скадовск. Там пароходы подваливали к ветхим дощатым пристаням – скрипучим, шатким и облепленным рыбой чешуей.

Очерки были лаконичные, сочные и живописные, как черноморские гамливые базары. Написаны они были просто, но, как говорил Евгений Иванов, «с непонятным секретом».

Секрет заключался в том, что очерки эти резко действовали на все пять человеческих чувств.

Они *пахли* морем, акацией, бахчами и нагретым инкерманским камнем.

Вы *осязали* на своем лице дыхание разнообразных морских ветров, а на руках – тяжесть смолистых канатов. В них между волокон пеньки поблескивали маленькие кристаллы соли.

Вы *чувствовали* вкус зеленоватой едкой брынзы и маленьких дынь канталуп.

Вы *видели* все со стереоскопической выпуклостью, – даже далекие, совершенно прозрачные облака над Кинбурнской косой.

И вы *слышали* острый и певучий береговой говор ничему не удивляющихся, но любопытных южан, – особенно певучий во время ссор и перебранок. Чем это достигалось, я не знаю.

Очерки почти забыты, но такое впечатление от них осталось у меня до сих пор. Жаль, что Гехт не продолжил этот удивительный путеводитель по маленьким портам.

Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по составу крови, по огромной заинтересованности окружающим, по общительности, по образности мысли. У таких людей жизнь связана с писательской работой непрерывно и навсегда. Таким человеком и писателем был Гехт.

На этот раз загадочный вид Гехта насторожил всех. Но, будто по уговору, никто его ни о чем не спрашивал. То был верный способ заставить его говорить.

Гехт крепился недолго. Подмигнув нам, он достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.

– Вот! – сказал он. – Получайте предисловие Бабеля к нашему сборнику!

– Оно короче воробьиного носа! – заметил кто-то. – Просто отписка!

Гехт возмутился:

– Важно не сколько, а как. Зулусы!

Он развернул листок и прочел предисловие. Мы слушали и смеялись, обрадованные легким и пленительным юмором этого, очевидно, самого короткого предисловия в мире.

Потом дело со сборником сорвалось. Он не вышел, а предисловие потерялось. Только недавно его нашел среди своих бумаг один из тех, о ком писал Бабель.

Вот это предисловие:

«В Одессе каждый юноша – пока он не женился – хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель. Вот семь одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта, и они укатили бы в недостижимые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому, что у них нет ни виз, ни английских фунтов, – поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпевает им Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Ванштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он в тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.

Третий одессит – Ильф. По Ильфу – люди замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев.

Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песке варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в Практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.

Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.

Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша – пока он не женился – хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда, – в Одессе мы женимся с необыкновенным упорством».

Ночные поезда

Все мы жили тогда как попало и потому неважно.

Олеше и Ильфу дали узкую, как пенал, комнату при типографии «Гудка». Гехт жил где-то в Марьиной Роще среди холодных сапожников. Булгаков поселился на Садово-Триумфальной в темной и огромной, как скетинг-ринг, коммунальной квартире.

Соседи Булгакова привезли из деревни петуха. Он смущал Булгакова тем, что пел ночью без времени. Жизнь в городе сбивала петуха с толку.

Мне пришлось убраться с Гранатного переулка, так как вернулся из командировки жилец, в комнате которого я поселился.

Сотрудник «На вахте» капитан дальнего плавания Зузенко нашел мне пристанище в Пушкине, под Москвой, рядом с домом, где он жил сам. Пристанище оказалось пустой, как сарай, и ледяной дачей.

В моей комнате стояла кое-какая пыльная мебель и лежала на продавленной тахте потерявшая шкура белого медведя. Пыль на мебели просто окаменела. Ее нельзя было стереть ничем, разве только счистить напильником. В пазах между бревен пищали мыши.

О Зузенко я уже писал довольно много. Да и нельзя было не писать об этом строптивом и добром человеке с лицом, изуродованным боксом. Мы сдружились, очевидно, по резкой противоположности характеров. Зузенко не знал сомнений, я же был полон ими сверх меры. Зузенко был грубоват и насмешлив, а я, к своему огорчению, был вежлив даже с трамвайными ворами и не любил насмешек.

Сначала мне нравилось жить за городом. Тогда от Мытищ до Пушкина еще тянулся нетронутый лес. Каждый день приходилось ездить в Москву, в редакцию, и возвращаться в полночь последним поездом.

В Москве перед отходом поезда кондуктор проходил по вагонам и сгонял всех пассажиров в один вагон, – для их же собственной безопасности. Тогда в пригородных поездах сильно грабили (в то время говорили «раздевали»).

Пассажиры нервничали, помалкивали. Да и разговаривать было трудно. Маленькие вагоны шли с таким грохотом, что можно было только перекрикиваться.

Пассажиры были большей частью одни и те же и знали друг друга в лицо. Поэтому на всех новичков они посматривали подозрительно и садились от них подальше.

Самым опасным считался перегон от Лосиноостровской до платформы Тайнинка. «Бандитский вертеп», – говорили о Тайнинке опытные пассажиры. На попутчиков, сходявших ночью в безлюдной Тайнинке, смотрели с сожалением и гадали, дойдут ли они до дому или нет.

После Тайнинки пассажиры успокаивались и дремали до самого Пушкина.

Мы с Зузенко всегда ездили вместе. В этом было для меня два преимущества: одно на пути из Москвы в Пушкино, а другое – на пути из Пушкина в Москву.

Преимущество на пути из Москвы в Пушкино состояло в том, что с Зузенко я чувствовал себя в безопасности. Человек огромной физической силы и бесстрашия, он каким-то шестым чувством узнавал любую «шпану» и немедленно переходил в наступление. Заметив в вагоне «подозрительного по шпане» человека, он долго и тяжело смотрел на него, потом вставал, шел к нему зловеще и медленно и говорил:

– На первой же остановке выкатывайся с поезда! Без визга!

При этих словах Зузенко засовывал руку в карман шинели.

Удивительнее всего было то, что Зузенко ни разу не ошибся, – «подозрительные по шпане» выкатывались, даже не матерясь.

Но один раз Зузенко опешил. Было это уже за Тайнинкой. Все мирно дремали. Против нас на скамье спал, поджав ноги, мальчишка лет четырнадцати. Он очень вертелся и иногда даже подпрыгивал во сне.

Зузенко высказал предположение, что мальчишку мучают глисты. Поезд рвануло на стрелке, мальчишку подбросило, он проснулся и неожиданно начал стрелять. При этом он кричал: «Дяденька, спасите!» Стрелял он, как опытный бандит, из кармана своего ватника. Пассажиры проснулись и ринулись на площадку.

Зузенко схватил мальчишку за шиворот, но тотчас отпустил.

– Что это, распротак его так! – крикнул он. – Как он стреляет! Руки у него наружу!

В это время из кармана мальчишки раздался сам по себе еще один – последний – оглушительный выстрел. Мальчишка взвыл. Карман у него тлел. Из него шел удушливый дым.

– Ватник снимите! – отчаянно кричал мальчишка. – А то сгорю, дяденька!

Зузенко стащил с мальчишки ватник.

– Что у тебя в кармане, шкет несчастный? Конопатый, заплаканный шкет признался, что у него в кармане лежали насыпью пробки для пугача. Очевидно, пробки согрелись, долго ерзали и терлись от качки и рывков поезда и на одном, самом сильном рывке наконец взорвались.

Ватник потушили. Мальчишку пассажиры, как водится, изругали. Зузенко хохотал, раскачиваясь, как араб на молитве. Потом он неожиданно сказал:

– Вот случай для Джекобса.

Джекобс был американский юмористический писатель, любитель такого рода бессмысленных историй.

Второе зузенковское преимущество было связано с утренними поездками в Москву. Во время этих поездок я выслушал множество увлекательных историй из его жизни⁵.

⁵ Одна из историй Зузенко легла, как мне кажется, в основу неопубликованной повести «Голубой песок». Во всяком случае в ней передан колорит ежедневных поездок в пригородных поездах. Кроме того, в этой повести отец впервые подходит к теме «Соранга». Как опыт прозы раннего К. Паустовского фрагмент из повести будет, надеюсь, интересен читателям. ГОЛУБОЙ ПЕСЕЦ Отверток из повести – С кем бежать в ветер, в весенний холод, в счастье? Из забытой книги Я люблю пустые дачные поезда. Пустыми они бывают в сентябре, когда лимонная листва прилипает к ботинкам и ветер пахнет горечью. Ночь пролетает за открытыми окнами – назад, – к Сергиеву, к Пушкину, к Мытищам, – ночь, вздрагивающая от торопливых паровозных гудков. Свечи пляшут в фонарях, разбрасывая по вагону тени. В лицо бьют редкие и теплые капли дождя, но никто не закрывает окон, ни я, ни мой сосед, молодой ученый, исследователь полярных стран, ни мальчик, старающийся схватить рукой шумящие мимо ветки деревьев. За Лосиноостровской над свежестью мокрых роц, в густом и черном небе встает голубая и нежная заря. Она восходит над миром далеким дрожащим свечением, она изгибается куполом, разгораясь с каждым километром. Поезд врывается в сложные карты огней, паровозный пар падает на землю, насыщенный белым светом, мосты гремят торжественно и коротко, как боевой сигнал. В ущелье из темных вагонов, столпившихся у вокзала, мы врываемся, как снаряд, пахнущий березами и болотным туманом. Паровоз радостно ревет, – мертвая луна над затихшем Клязьмы, тусклые дачные фонари, – все позади. Впереди – шары огней, гром, перроны, запах апельсина и табака, хрустящие скатерти в вокзальных буфетах, торопливые улыбки женщины, площади, реки автомобильных лучей, – впереди столица, Москва! Я люблю дачные поезда еще и за то, что в темноте, когда потухнет свеча, люди говорят необычайные вещи, надеясь, что за грохотом колес не все будет слышно. Однажды, такой вот сентябрьской ночью ученый, мой сосед по даче – Именитое, рассказал мне в поезде историю о том, как он замерзал. Он не был похож на ученого. Прежде всего для ученого он был слишком весел и прост. Мне кажется, что он был больше авантюристом, чем ученым, но полярным исследователям это простительно. В полярных широтах авантюра, смерть и наука неотделимы. Недаром к имени величайшего человека нашего времени, к незабываемому имени Рольфа Амундсена люди, почтительно обнажая головы, прибавляют эпитет «великий путешественник и авантюрист». Эпохи причудливо меняют свои вкусы. Вместо крестовых походов в Палестину, обожженную, как рыжий кирпич, мы стали свидетелями крестовых походов на север, где трупы погибших покрываются пушистым мехом и звенят, как серебро. Сотни серебряных трупов и полюс за ними, который теперь можно только закрыть. Над полюсом нет ничего, – там пусто и снежно, и только Полярная звезда дрожит, раздуваемая ветром. Понятна тоска Амундсена о том, что земля слишком изучена и нет сил от нее оторваться. Именитое пронес через полярные страны не только науку, авантюризм и смерть, но и нечто новое – любовь. Я приведу ниже его рассказ, перебивая его, по своей скверной привычке, некоторыми отступлениями. Быть может они не нужны, но я должен восстановить сейчас не только рассказ Именитова, но всё, всю обстановку, в которой я услышал его и все волнение мое после этого рассказа. Волнение это заводило меня далеко в сторону от рассказа, в мое детство, в скитания, в мою жизнь, разобраться в которой может кто угодно, но только не я. МЕЖДУ ПУШКИНОМ И МЫТИЩАМИ Дождь медленно сбивал с деревьев сгнившую листву. Это было в тот вечер, когда Именитое начал мне свой рассказ. Чтобы закончить его, понадобилось несколько поездок из Пушкина в Москву, и каждая из них вонзилась в гуцу холодной подмосковной ночи, врезалась в мою память, как глава, написанная ослепительными буквами.

Как только Зузенко входил в вагон в Пушкине, он тотчас начинал рассказывать мне эти истории. Любопытные пассажиры подсаживались поближе.

Первую главу я называю «Смерть Отса». – Вам это покажется неправдоподобным, – сказал Именитое, – но в прошлом году в Ледовитом океане работало двенадцать экспедиций. О них почти никто не знал и не знает, кроме ученых учреждений, которые их послали, и кроме нас, участников этих экспедиций. Мне трудно восстановить подлинные слова Именитова. Я запомнил только эту фразу. Поэтому дальше я буду говорить за него. Наша экспедиция попала вблизи острова Диксона в тяжелые льды. Подходила поздняя осень. Судно – моторный бот «Индига» – было раздавлено льдами. Команда и участники экспедиции дошли пешком до острова к радиостанции, где нам пришлось зимовать. Стояла полярная ночь, – ведь нельзя же было принимать за дни вялые проблески серого света, угрюмые сумерки, щемившие сердце запоздалым сожалением о солнце. Остров был черен, ночи безмолвны как отчаянье, пурга неслась с полюса, обещая похоронить в снегах Россию, весь мир, дойти до экватора. Мы попали в места, где рождались зимы, ветры и смертоносные морозы. От них дальше к югу тайга трещит и сверкает и воздух становится куском льда, преломляющим жесткие звезды. На радиостанции я перечитал несколько раз книгу «Дневник капитана Скотта». Других книг не было. Вся литература оказалась мне праздной болтовней перед этим дневником смерти, дневником людей, безропотно гибнущих от гангрены, голода и потрясающей стужи в ледяных пустынях Антарктики, где даже названия нависают черной и непоправимой угрозой. Особенно запомнилось название одной из гор – «Ужас». К Южному полюсу экспедиция Скотта шла на лыжах. Их было пять человек. Один шел с сотрясением мозга (он несколько раз падал в глубокие трещины во льду). Вблизи полюса шедший впереди остановился, – на снежной белизне что-то чернело. Сердце у Скотта упало, – он понял, в чем дело. Два часа они стояли, не двигаясь, боясь подойти, боясь увериться в том, во что они не хотели верить. Но Скотт знал, черное на снегу – была палатка, брошенная Амундсеном. Норвежец их обогнал. Это был конец. С этой минуты Скотт понял, что им не осилить обратного пути, не проволочить за сотни миль по обледенелым снегам кровоточащие распухшие ноги. Тогда всем поровну был роздан яд. Все знают имена Нансена, Амундсена, Шекльтона и Беринга, но никто не знает имени лейтенанта Отса. Лейтенант Отс шел обратно с полюса в жару, в гангрене, с помутившимся сознанием. Он задерживал экспедицию. Он понимал, что из-за него погибнут все. Нужен был выход. И Отс его нашел. Капитан Скотт пишет: «17 марта 1911 года. Третьего дня Отс сказал, что дальше идти не может, и попросил нас оставить его, уложив в спальный мешок. Этого мы сделать не могли и уговорили его идти с нами. Несмотря на нечеловеческую боль, он крепился, и мы сделали еще несколько миль. К ночи ему стало хуже. Мы знали, что это конец. Он до самого конца не терял, не позволял себе терять надежду. Конец же был вот какой: он уснул предыдущей ночью, надеясь не проснуться, однако утром проснулся. Это было вчера. Была метель. Он оказал: «Пойду пройдуся. Может быть, вернусь скоро». Он ушел в метель, и мы его больше не видели. Он поступил как благородный человек». Имя самоубийцы Отса должно быть вписано в историю человечества рядом с именами Нансена и Галлилея, Пушкина и Леонардо да Винчи. Экспедиция погибла. Вот последняя запись Скотта: «Топлива нет... Пищи осталось на раз. Должно быть, конец близок. Девять дней свирепствует непрерывный шторм. Нет возможности выйти из палатки, – так снег несет и крутит. Не думаю, чтобы мы могли еще на что-то надеяться. Мы выдержим до конца, но мы все слабее и смерть недалеко. Мы рискували, рискуали сознательно. Нам была во всем неудача. Если бы мы остались живы, я бы такие вещи рассказывал о мужестве, выносливости и отваге моих товарищей, которые потрясли бы каждого человека. Повесть эту пусть расскажут мои записки и наши мертвые тела. Но не может быть, чтобы такая богатая страна, как Англия, не позаботилась о наших близких». Трупы Скотта и его спутников нашли через восемь месяцев. Не знаю, услышала ли Англия последний отчаянный вопль гибнущего капитана Скотта о близких? Этот свой вопль Скотт бросил всему человечеству, как бы призывая его в свидетели, – должно быть, у него были основания сомневаться в том, что богатая Англия поможет его крошечным детям. Когда Именитое рассказывал об этом, я вспомнил, что имущество Амундсена было продано после его смерти с молотка. Значит, вопль Скотта не был напрасен. «СО-РАНГ» За Мытищами над ночными поездами восходит нежная и неподвижная заря. В свете этой зари я услышал еще одно отступление от темь, новый рассказ о ветре со странным названием «со-ранг». Отс замерз. Очевидно, это вызвало у Именитова мысль о ветре «со-ранг». А может быть, наоборот. Я не охотник рыться в закономерности настроений. Мне трудно подымать пласты уничтожающих друг друга причин людских поступков и слов. Я верю, что люди, роющиеся в архивах человеческих душ, преждевременно стареют и теряют порыв к творчеству. Синий цвет я воспринимаю как глубокий неутомительный блеск (ему нет подобного в мире), воспринимаю просто, вне зависимости от того, из каких частей он состоит. Так же я воспринял и слова Именитова о «со-ранге». С острова Диксона Именитое с двумя матросами ушел на материк к устью Енисея. Шли в феврале, когда кончалась полярная ночь. Большое солнце показывалось в полдень на несколько минут над горизонтом. Стояла стужа, острая как осколки стекла. Она царапала легкие, иголками покалывала сердце, вымораживала все мысли, кроме одной, – до первого поселения надо дойти во что бы то ни стало. У каждого были свои причины, у матросов – тоска по дому, у Именитова – тоска по человеку. В устье Енисея, в нескольких часах пути от первого поселка Голь-чихи, Именитое замерз. Матросы его спасли. Замерзая, он видел сон, и сон этот он назвал «со-ранг». Сон был такой: «Россия, засыпанная легким снегом. Мякая, будто приморская зима, когда стички в руках курильщиков не гаснут и пламя их не колеблется от ветра. В такие зимы кажется, что мощные и свежие пласты морского воздуха легли на землю. Поэтому, должно быть, снег пахнет морской водой. В такую зиму к Именитову в Москве пришел Отс. Синий свет блестел в его зрачках – цвет моря, цвет его молодых глаз. (Отсу было 25 лет.) – Я воскрес, – сказал Отс Именитову, засмеялся и показал свои сильные пальцы. – Через час я покажу вам то, что спасло меня. А теперь – едем. Я привез вам приглашительный билет. – Куда? – На праздник «со-ранга». Именитое прочел приглашение. На куске белого картона было напечатано: «Вы приглашаетесь прибыть в Архангельское, в бывший дворец Юсупова на праздник „со-ранга“, сегодня к полночи. „Со-ранг“ начнется в два часа ночи и будет продолжаться, по вычислениям метеорологов, до шести часов утра. Примечание. «Со-ранг» – короткий южный ветер среди зимы, впервые дующий в этом году в России. Он насыщен запахом тропических плодов и трав. Действие его на человеческий организм вы испытаете сами». Отс распахнул окно и выглянул на улицу...»

Вскоре слух об этих рассказах прошел по всему Пушкину. В вагон, куда садился Зузенко, набивалось столько народу, что негде было присесть. Чтобы лучше слышать, пассажиры тесно сбивались вокруг капитана и наваливались мне на спину. Я долго потом не мог отдышаться.

Приходил кондуктор и начинал речь о неправильной нагрузке поезда. Все вагоны пустые, а в этот не втиснешься. Да он и не рассчитан на такую уйму пассажиров. Беспорядок! Наверняка загорятся буксы.

Каждый раз Зузенко и пассажиры вступали с кондуктором в беспорядочный технический спор и доказывали ему, что вагон «не просядет и буксы никак не сгорят».

Зузенко приносил в редакцию «На вахте» свои воспоминания о плаваниях. Воспоминания эти он печатал на старой машинке с латинским шрифтом. В тех местах, где латинские буквы не совпадали с русскими, Зузенко вписывал русские буквы от руки. Это была каторжная работа.

Мне нравился у Зузенко насмешливый взгляд, взвешивающий собеседника, тяжелая и осторожная поступь, будто по палубе в шторм, грубоватый юмор и склонность к сложным и наивным предприятиям ради сомнительного заработка.

В то время в России было много безработных морских капитанов по той причине, что совсем не было морских кораблей. Поэтому Зузенко числился в резерве советского торгового флота. Он дожидался, когда наконец появится подходящее, по его словам, «корыто», на котором он будет плавать если не капитаном, то хотя бы третьим помощником. За пребывание в резерве Зузенко получал ничтожную ставку и потому постоянно изыскивал способы перехватить денег.

Был нэп. Нэпманов и так называемых «частников» Зузенко ненавидел люто и необратимо.

То было племя барышников и комбинаторов. Те из них, кто был повыше рангом и побогаче, пытались придать себе вид промышленников, крупных торговцев и дельцов. Но дальше этого внешнего вида дело, обычно, не шло, и все знали, что это – «липа».

В общем, мы относились к нэпу скептически. Все знали, что нэп – явление временное, что с первых же дней своего рождения он дышит на ладан и, совершив свое дело, будет выброшен на свалку истории. Так оно и случилось.

Но нэпманы всех раздражали. Они дико торопились обогащаться. Они задыхались от спешки и шалели от всяческих комбинаций и неизбежного страха. Пределы дозволенного были не особенно ясны. Любой шаг мог оказаться роковым. Все это сообщало характеру нэпманов истеричность. Их существование с судорожным и кургузым размахом, облезлыми автомобилями, увядшими красавицами и ресторанной цыганщиной напоминало плохо сыгранный спектакль.

Где-то в Сибири и на Дальнем Востоке сдавались в концессии рудники и золотые прииски, но это было так далеко от Москвы, что казалось нереальным, и, может быть, поэтому не вызывало тревоги. Мы же сталкивались только с нэпмановской «плотвой». Нас, конечно, не могли смутить кислые дамы и старушечки, торговавшие пончиками и самодельными тянучками из окон своих комнат в первых этажах домов.

Соблазнительные свои товары они раскладывали на подоконниках. Там, кроме пирожков и печенья, можно было увидеть горки пиленого сахара на облезлом фарфоровом блюде (настоящий «сакс»), вязаные галстуки, зажигалки, китовый ус для корсетов и нарядные – розовые и голубые – резинки для дамских подвязок, негодные к употреблению, так как резина давно пересохла. Мы воспринимали нэп главным образом с бытовой и комической стороны.

Особенно славился в то время в Москве «король древесного угля» Яков Рацер. Предприятие его помещалось в Марьиной Роще против дома, где жил Гехт. Каждое утро, чуть начинало светать, Яков Рацер выходил на балкон своего дома и пропускал мимо себя весь длинный обоз

угольщики на колченогих конях. Рацер стоял, как полководец, принимающий парад своих «войск».

После парада угольщики расплзались по всем закоулкам Москвы, оглашая дворы унылыми криками: «Вот уголек, кому надо!» Все в угольной пыли, они походили на негритосов. Они удивляли москвичей эмалевой белизной глазных яблок под сизыми веками.

Время от времени Яков Рацер печатал в «Известиях» объявление: «Бывали случаи, что уголь у Якова Рацера оказывался неполновесным, но не было случаев, чтобы уголь у Якова Рацера оказывался сырым». На кульках с самоварным углем Яков Рацер печатал несколько иные и довольно изысканные рекламные стихи:

Так говорит Заратустра:
«Кто рекламирует шустро,
Но не пленяет товаром,
Тот рекламирует даром».
Уголь ли нужен, дрова ли,
Рацера фирма едва ли
Будет Москвою забота, —
Слава недаром добыта!

Широко известен был еще один частник по фамилии Функ. Он открыл в Москве производство сапожного крема. Функ тоже понимал толк в рекламе. На всех улицах висели на фонарях веселые человечки, вырезанные из жести. Они танцевали чечетку, приподняв над головой желтые щегольские канотье, сверкая зубами и сияющими ботинками, только что начищенными пастой Функ.

Человечки восторженно призывали чистить обувь только пастой Функ. Этот призыв выглядел в то время нелепо. По всем улицам шлепали заскорузлыми босыми ногами беспризорники, а обуви, требующей столь идеальной чистки, в Москве вообще не было.

Москва была полна беспризорными. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни, отбивая такт деревянными ложками.

Вплотную с беспризорными я встретился в ночном пригородном поезде. Это случилось поздней осенью перед жестокими морозами 1924 года.

Однажды мы с Зузенко вошли в плохо освещенный вагон. Ярko светили только фонари на платформе. Их свет проникал внутрь вагона сквозь забрызганные дождем окна. Дождь лил холодный, упорный, с ознобом. В углу вагона шевелилась груда серого тряпья.

– Нетопыри! – сказал Зузенко.

Это были беспризорные. Они лежали вповалку на полу, прижавшись друг к другу, прикрывая собой самого маленького мальчика лет восьми. Свет фонаря падал на него, и первое, что я заметил, это его большие глаза без слез, а потом – дрожь, ужасную неудержимую дрожь его высохшего маленького тела. Он дрожал так, что в ответ на его дрожь позванивало расшатанное стекло в окне вагона. Лежавшие по сторонам мальчишки натягивали на него полы своих рваных «клифтов».

«Клифтами» или «жакетами» называлась одежда беспризорных – кофты или пиджаки с чужого, взрослого плеча, – длинные, ниже колен, с болтающимися рукавами. От времени, пыли и грязи «клифты» приобрели одинаковый мышино-серый цвет и блестели, будто смазанные маслом.

В рваных, обвисших карманах этих «клифтов» хранилось все имущество беспризорников – «марафет», ножи, папиросы, корки хлеба, спички, засаленные карты и обрывки грязных бинтов. Под «клифтами» даже не было истлевших рубаш, а желтело озябшее зеленоватое тело, расчесанное в кровавые полосы.

– Не трусь, Царевич, – проговорил осипшим голосом мальчик постарше. – В Мытищах отогреемся.

Вошел кондуктор, посветил на беспризорников фонарем, выругался и прошел мимо.

Мы сели поодаль. В вагоне, кроме нас, почти не было пассажиров. А те немногие, что вошли, сидели тихо и будто ничего не замечали.

– А ну, пацаны! – вдруг сказал Зузенко. – Желаящие покурить – вали сюда!

– Встал и подошел только мальчик постарше. Остальные – их было трое – продолжали лежать.

Мальчик сел на скамью против нас, поджал босые ноги, жадно закурил, длинно сплюнул и сказал, поглядывая на слабо блестящий морской герб (так называемый «краб») на фуражке Зузенко:

– Ты, моряк, красивый сам собою...

– Заткнись, пацан! – оборвал его Зузенко. Но мальчик, глядя в сторону, вдруг запел во весь хриплый детский голос:

Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет.
Я остался сиротой,
Счастья, доли мне нет!

– Ты это брось! – повторил Зузенко. – Не до шуточек. Дружок твой пропадает вконец.

– Это Шурка-Царевич, – объяснил беспризорник. – А я зовусь Летчик.

– Есть предложение, – так же спокойно сказал Зузенко. – Нельзя его так оставлять.

– Ага! – равнодушно ответил Летчик и высморкался в длинный, как труба, черный рукав. – Второй день горит, аж светится.

– Так вот! Айда к нам в Пушкино. У нас дача. Одну комнату протопим, переживете несколько дней, а там видно будет. Дальше будете действовать по своему усмотрению. Нельзя такого пацанчика загубить.

– А вы нас не зацапаете?

– Балда! – сказал, всерьез обидевшись, Зузенко. – Я капитан дальнего плавания. Понял? А это писатель.

– Шамовку дадите? – спросил Летчик. – На всех, на четверых?

– А ты, видно, и вправду дурак!

– Счас! – ответил Летчик и подсел к своим. Они долго шептались, потом Летчик вернулся и небрежно сказал:

– Братва соглашается.

У меня на даче пустовало пять комнат. Рядом с моей была самая большая. Она обогрелась той же печкой, что и моя. Никого и ни о чем не надо было спрашивать, – хозяин дачи жил в Москве, и я видел его всего один раз.

Когда мы привели на дачу беспризорных, печка была еще теплая от утренней топки.

В кладовой валялись старые полосатые тюфяки. Мы расстелили их на полу около печки. Беспризорники расселись на тюфяках, закурили и притихли. Я принес Шурке-Царевичу подушку и медвежью шкуру. Мальчики молча смотрели на меня. Я уложил Шурку. Тогда Летчик сказал:

– Обовшивеет этот медведь.

Я промолчал. Мальчики тоже молчали, чем-то подавленные.

Зузенко принес со своей дачи австралийский усовершенствованный примус и вскипятил воду для чая в большом щербатом чайнике. Шепнув мне, что идет за доктором, Зузенко снова ушел. Беспризорники было забеспокоились, но я сказал им, что капитан ушел за шамовкой.

Шурка дышал с тоненьким свистом. Я потрогал его лоб, – от него тянуло палящим жаром.

Через час Зузенко привел старенького доктора-армянина. Он никак не мог протереть озябшими руками старомодное пенсне в черепаховой оправе и все время сокрушенно повторял:

– Ой, скандал, скандал! Какой скандал!

Ко времени его прихода беспризорники напились чаю и уснули, сбившись гурьбой на одном тюфяке. Никто из них не проснулся.

Доктор выслушал Шурку, сморщился и объявил, что у мальчика двустороннее воспаление легких и его надо немедленно отправить в больницу.

На даче у Зузенко были хозяйские большие салазки. Капитан возил на них дрова и воду.

Пока Зузенко ходил за салазками, я налил доктору чаю. Он обхватил стакан обеими руками, чтобы согреть пальцы, и долго молчал. Пенсне вздрагивало у него на переносице, сползало и несколько раз чуть не упало на пол. Доктор снял его, поднес почти вплотную к старческим выпуклым глазам и спросил:

– Как это случилось?

– Что? С мальчиком?

– Нет! Как это случилось, что тысячи детей выкинуты, как котята, на улицу?

– Не знаю.

– Нет! – сказал он твердо. – Вы знаете. И я знаю. Но мы не хотим думать об этом.

Я промолчал. О чем говорить! Это безнадежно. Что толку переливать из пустого в порожнее!

– Вот скандал! – повторил доктор, криво усмехаясь. – Уход нужен. Только уход. А эти мальчики опоздали перебраться на юг. Надо дать знать, чтобы их взяли в колонию. Иначе они пропадут.

Зузенко притащил салазки. Мы закутали Шурку чем могли, в том числе и медвежьей шкурой, уложили на салазки и осторожно повезли в больницу.

Я хотел разбудить Летчика, но он, так же как и все остальные мальчики, спал тяжелым сном и не проснулся, хотя во сне все время вертелся и яростно чесал грудь.

Мы ушли, но дачу не заперли, чтобы не напугать мальчиков, когда они проснутся.

Возвратились мы на рассвете. Дождь стих. Из леса тянуло острым водянистым холодом.

На даче было пусто. Беспризорники исчезли. На переплете книги «Голый год» Бориса Пильняка, лежавшей на столе, было криво и крупно написано: «Шурка Балашов, отец умерши, матери потерялась».

– Ну что ж! – вздохнул Зузенко. – Улетели чижы. От своих филантропов. Я всегда считал, что свобода сильнее страха смерти. Пацаны это тоже понимают.

Шурка Балашов умер через четыре дня. Долго после его смерти я не мог избавиться от чувства вины перед ним. Зузенко говорил, что никакой вины нет, что я – гнилой интеллигент и неврастеник, но под кожей на скулах у капитана ходили твердые желваки, и он без конца курил.

Мальчика похоронили в мелкой могиле на краю кладбища. Все время шли дожди, сбивали гнилые листья и засыпали ими низкий могильный горб. Сейчас я, конечно, его уже не найду, но приблизительно знаю, где похоронено маленькое, беспомощное существо, совершенно одинокое в своем страдании.

Жизнь в Пушкине была неприятной. Весь день до позднего вечера я проводил в редакции «На вахте». К полуночи я добирался до вокзала, уезжал в Пушкино, там сразу же окунался

в глушь, мрак и безлюдье, быстро засыпал, а утром, еще в полной темноте, приходилось вставать, топить печку и торопиться на поезд в Москву.

Чередование одних и тех же дел надоедало, утомляло, я подголаживал, и, может быть, от этого у меня несколько раз – всегда по ночам – бывали обмороки.

Один раз я упал на каменные плиты на Северном вокзале и очнулся в вокзальном приемном покое с разбитой в кровь головой. Больше всего меня потрясло то обстоятельство, что сонная медицинская сестра, приводившая меня в чувство, заподозрила, что я пьян.

Я обиделся и ушел, шатаясь, из приемного покоя. Я опоздал на последний поезд, не встретился с Зузенко и просидел всю ночь в пустом вагоне на путях вблизи вокзала. Голова у меня трещала, мутилась, и я жалел, что рядом нет беспризорных. Все-таки с ними было бы легче. Из-за своей слабости я чувствовал себя таким же беспризорным, как и они.

Стужа

Над кострами клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым огнем.

Дым костров и январской стужи низко висел над Москвой. Сквозь этот дым со скрежетом ползли, позванивая, трамваи. Вагоны заросли изнутри клочьями изморози и походили на ледяные пещеры.

Костры складывали на площадях из целых бревен и старых телеграфных столбов. Около огня грелись милиционеры в серых каракулевых шапках с красным верхом – «снегири». Так звали милиционеров в то время.

Милиционеры держали на поводу заиндевелых нетерпеливых коней.

Со стороны Красной площади доносились сильные взрывы. Там разбивали окаменелую землю, готовили могилу для Ленина.

Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур. Черно-красные повязки были надеты на рукава у людей, следивших за бесконечной медленной толпой, продвигавшейся к Колонному залу, где лежал Ленин.

Очереди начинались очень далеко, в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала.

Уже на Лубянской площади слышались со стороны Колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они усиливались, разговоры в толпе стихали, пар от дыхания слетал с губ все судорожнее и короче.

Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь, благородный...

Кто-то запел вполголоса эти слова, но тотчас замолк. Любой звук казался ненужным среди этой полярной ночи. Только скрип и шорох многих тысяч ног по снегу был закономерен, непрерывен, величав. В непроглядной темноте к гробу шли люди с окраин, из подмосковных поселков, с полей, с остановившихся заводов. Шли отовсюду.

Молчание застыло над городом. Даже на далеких железнодорожных путях не кричали, как всегда, паровозы.

Страна шла к высокому гробу, где среди цветов и алых знамен не сразу можно было рассмотреть изможденное лицо человека с большим бледным лбом и закрытыми, как бы прищуренными глазами.

Шли все. Потому что не было в стране ни одного человека, на жизни которого не отразилось бы существование Ленина, ни одного, кто бы не испытал на себе его волю. Он сдвинул жизнь. Сдвиг этот был подобен исполинскому геологическому сбросу, встряхнувшему Россию до самых недр.

В промерзшем насквозь Колонном зале стоял пар от дыхания тысяч людей.

Время от времени плавное звучание оркестра разбивали пронзительные плачущие крики фанфар. Но они быстро стихали, и снова мерно звучал оркестр, придавая печали торжественность, но не смягчая эту печаль.

Со мной в толпе шел Зузенко.

Долго шли молча. Потом Зузенко поежился и сердито сказал:

– Ну и холодьюга! Как в полярной трескоедне! (Так он насмешливо называл все полярные страны.) Веки смерзаются. Грандиозный мороз!

Он помолчал и сказал снова:

– Все сейчас грандиозно. Вот Ленин... Грандиозный разрушитель всяческой скверны и грандиозный созидатель... Дышите через шарф, а то отморозите бронхи... Жаль, не удалось мне с ним поговорить о всемирном союзе моряков. Грандиозный был бы у нас разговор!

Мы медленно прошли мимо гроба и еще медленнее вышли из Колонного зала. Все люди оглядывались и замедляли шаги, стремясь в последнем взгляде удержать все увиденное – лицо Ленина, его выпуклый лоб, сжатые губы и небольшие руки.

Он был мертв, этот человек, стремительно перекроивший мир. Каждый из нас думал о том, что теперь будет с нами.

– Наши дети, – сказал Зузенко, когда мы вышли из Колонного зала, – будут завидовать нам, если не вырастут круглыми идиотами. Мы влезли в самую середину истории. Понимаете?

Я это прекрасно понимал, как и все, кто жил в то тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни такой жути, ни таких разочарований и побед. Зеленых от голода и почернелых от боев победителей вела только непреклонная вера в торжество грядущего дня.

Мне было в то время тридцать лет, но прожитая жизнь уже тогда казалась мне такой огромной, что при воспоминании о ней делалось страшно. Даже холодок подкатывал под сердце.

«Действительно ли ты сын своего времени?» – думал я. Всем существом я понимал, что я неотделим от времени, от судьбы страны, от радостей, какие так редко испытывал мой народ, и от страданий, которые выпали на его долю с такой незаслуженной щедростью.

Мы шли с Зузенко на Северный вокзал по улицам, охваченным стужей. Она яростно подвывала под ногами.

«Век шествует путем своим железным», – говорил я про себя. Эти слова преследовали меня весь тот день.

– Что вы бормочете? – спросил Зузенко.

– Да так... Ничего...

Железный век! И вдруг в памяти зазвенели, поднявшись из ее глубины, далекие слова:

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?

«Век шествует путем своим железным». Но его путь, конечно, ведет к золотому веку, к миру, к разуму. К золотому веку! Надо верить в это. Иначе нельзя жить!

Потом мы долго ехали с Зузенко в Пушкино. Пустой дачный поезд грохотал и качался в пару. Колеса вагонов звучно били по стыкам рельс. Им вторило ночное эхо. Казалось, что оно тоже замерзает от стужи и потому звенит, как тонкий лед, разбитый камнем. В Пушкине все дымилось от мороза.

– Сорок градусов, если не больше, – сказал Зузенко. – Зайдемте ко мне. Погреемся.

Я любил заходить к Зузенко. Маленькая его дача была засыпана снегом по самые окна.

Зузенко зажег свечу. На бревенчатых стенах висели, приколотые кнопками, заграничные пароходные плакаты. Они были очень старые, рваные, но заманчивые. Особенно один, где был изображен полосатый – белый с красным – маяк на песчаном берегу, маслянистое море и цветущий куст олеандра. Не верилось, что на свете бывают такие смелые сочетания алых цветов и лилового моря.

У Зузенко всегда было холодно. Окна заросли льдом, – снег в ту зиму валил почти беспрерывно. Плакаты, казалось, съеживались от такой зимы и быстро тускнели. Я любил рассматривать их, хорошо понимая, что никогда не попаду ни в одно из великолепных мест, изображенных на этих плакатах.

Кроме плакатов, у Зузенко была библия, лоция Атлантического океана, несколько книг по марксизму и растрепанный том энциклопедии Брокгауза и Ефрона на букву «Н».

Зузенко, оказывается, изучал библию, чтобы вести в Австралии, где он прожил несколько лет, бурные диспуты со священниками христианских церквей. Это было его любимое занятие, если не считать морского дела и постоянных схваток со всякими соглашателями, бюрократами, нэпачами, хлюпиками и размагниченными интеллигентами.

Зузенко разжег свой австралийский примус. Он ревел, как перегретый паровой котел, и был готов каждую секунду взорваться. Стало теплей.

Мы молча выпили чай с черными сухарями. Потом Зузенко спросил:

– Поедете завтра на похороны Ленина?

– Конечно.

– В чем? Мороз крепчает. Ваше осеннее пальтишко – чистое рядно, чтобы не сказать дерьмо. Да вас уже и сейчас трясет. Жаль, нет термометра.

– У меня есть.

– Померяйте. А завтра утром я зайду. Пораньше.

Я ушел. Ко мне от дома Зузенко вела протоптанная в снегу тропинка. Густые ели опустили на нее мохнатые лапы, отягченные снегом. Я задевал их, и снег несколько раз слетал мне за шиворот. Каждый раз я вздрагивал, как от удара ножом.

Я часто оступался в глубокий снег. Лес вокруг трещал и скрипел.

В моей комнате было тоже холодно, как в запертном леднике. Часто присаживаясь на табурет, чтобы отдышаться и избавиться от головокружения, я затопил печку и тотчас лег, не раздеваясь, укрывшись знакомой медвежьей шкурой. Под ней умирал маленький мальчик Шурка Балашов, и она из больницы вернулась ко мне. Занавески на окнах примерзли к стеклам, и где-то в пазах меж бревен пищали мыши.

Даже под медвежьей шкурой я слышал тошнотворный запах мышиного помета. И все думал, ежеминутно теряя нить своей мысли (она рвалась, как гнилая пряжа), о своей неустроенности, о том, что нужно сделать не только в комнате, но и в жизни генеральную уборку, все вымыть и выветрить. Но этого почему-то никак нельзя сделать зимой. Как будто беспорядок моего существования примерз ко мне и его не отодрать, – не хватит сил.

Я понимал, что заболеваю, и сказал громко – на всю комнату, на всю пустую промерзшую дачу:

– Человек не может быть один. Если он один, то только по собственной вине. Только поэтому.

Голова у меня мутилась. Я подумал, что сейчас, в такие дни просто нельзя уступать смутным и печальным мыслям, нельзя позволять тоске распоряжаться собой.

Мир потрясен. Москва пылает в похоронных кострах. Люди ждут избавления от тысячелетних и бессильных страданий. Ушел человек, который знал, что делать.

Он знал. Завтра его опустят в прокаленную холодом землю. Первая же ночь засыплет могилу снегом и будет равнодушно продолжать свой предназначенный путь.

Я потянулся к часам. Печка догорала. При свете углей я увидел, что уже шесть часов. А между тем тьма как будто сгустилась.

В стенах сильнее забегали и запищали мыши. Мне было жарко, душно, хотя холод сжимал мне лоб ледяной рукой. От этого болела голова.

Очнулся я утром, если можно назвать утром серый сумрак, заползавший в комнату из окна и тут же падавший в темноту на пол. Снег уже не шел.

Надо было собираться и ехать в Москву. Пока я умывался оттаявшей водой, сумрак начал наполняться синью. Вскоре оранжевые пятна солнца упали на черные стены и на фотографию Блока. На его лице лежала легкая надменность гения.

Зузенко постучал ко мне в окно и крикнул, приложив ладони к стеклу, что мороз осатанел и от него болят легкие.

– Вам ехать в Москву невыносимо, – прокричал он. – Оставайтесь. Не смейте вставать и открывать мне дверь. Я скоро вернусь и все расскажу.

У меня не было ни сил, ни голоса спорить. Он ушел. Я все же натянул пальто, замотал шею старым шарфом, натянул на уши кепку и вышел.

Я добрал до железнодорожного переезда как раз в то время, когда прошел на Москву последний утренний поезд. Я опоздал.

Тогда я пошел вдоль полотна в сторону Москвы, но не прошел и двух километров. Кружилась голова. Мне хотелось сесть на откос в снег и посидеть немного. Но я знал, что в такой мороз этого делать нельзя. Поэтому я все шел и шел, спотыкаясь, понимая, что идти бессмысленно и надо возвращаться.

По своей нелепой привычке я все время загадывал – вот дойду до того телеграфного столба и поверну.

Телеграфный столб задержал меня надолго. Я прислонился к нему, оглянулся и увидел, как Пушкино тяжело дымил всеми своими печными трубами, всем своим березовым дымом. Дым был алым от морозного солнца.

Впереди так же яростно, как и Пушкино, заваливая дымом всю землю, курилась Клязьма.

Лес потрескивал от мороза, как тлеющие дрова, и часто сбрасывал с вершин плоские блестящие снежки, похожие на рыбы чешуйки. Каждая ель, отягощенная снегом, стояла, как страж этой тихой зимней пустыни.

Я стоял, ждал. Я убеждал себя, что в этой ломкой тишине обязательно услышу, когда гроб будут опускать в могилу, хотя бы и очень отдаленный, но слитный гул всех заводских гудков Москвы. Может быть, даже услышу грохочущий вздох оружейных залпов.

Но было очень тихо. Только все сильнее потрескивал лес.

Со стороны Пушкина, выбрасывая столбы дыма, шел поезд. Был слышен его нарастающий гром.

Шел сибирский экспресс. Он всегда проходил в это время мимо Пушкина, не останавливаясь, не тормозя, увлакивая за стрелки тяжелые пульмановские вагоны. Все казалось, что вагоны хотят отстать, остановиться, но паровоз безжалостно мчит их вперед и не дает отдышаться.

Поезд приближался. Внезапно он вздрогнул. Залязгали и заскрежетали тормоза. Грохот колес оборвался, и поезд сразу остановился среди леса. Паровоз дышал, как запаленная лошадь.

Он остановился там, где его застало время похорон.

Тотчас пар вырвался струей из недр паровоза, и паровоз закричал.

Он кричал непрерывно, не меняя тона. В его крике слышалось отчаяние, гнев, призыв.

Этот могучий гудок летел окрест – в леса, в стужу, в поля, где одним глубоким пластом расстилались снега.

Прошла минута, две. Паровоз кричал все так же томительно, так же тоскливо и непрерывно, возвещая, что сейчас на Красной площади в Москве предадут погребению тело Ленина.

Поезд промчался через тысячи километров великой русской земли, но опоздал. Всего на сорок минут.

Мне казалось, что я слышу не только гудок сибирского экспресса, но вопль всей Москвы. В эту минуту остановилась жизнь. Даже морские пароходы легли в дрейф и оглашали свинцовые воды морей плачем сирен.

Гудок сразу стих, и поезд медленно тронулся в задымленную даль к близкой Москве.

Все было кончено. Я побрел домой. На дачах мертво висели траурные флаги. На обратном пути я не встретил ни одного человека. Мне казалось, что вымер весь мир и жизнь иссякла,

как последний неприятный свет этого январского дня с его никому не нужной мучительной стужей и горьким запахом дыма.

Вечером вернулся Зузенко и застал меня в жару и бреду. Я проболел больше месяца.

Снежные шапки

Как-то ближе к весне, тихим и снежным днем ко мне в Пушкино приехал Булгаков. Он писал в то время роман «Белая гвардия», и ему для одной из глав этого романа нужно было обязательно посмотреть «снежные шапки» – те маленькие сугробы снега, что за долгую зиму накапливаются на крышах, заборах и толстых ветвях деревьев. Весь день Булгаков бродил по пустынному в тот год Пушкину, долго стоял, смотрел, запахнув старую, облезлую доху, – высокий, худой, печальный, с внимательными серыми глазами.

– Хорошо! – говорил он. – Вот это мне и нужно. В этих шапках как будто собрана вся зимняя тишина.

– Декадент! – сказал о Булгакове Зузенко. – Но, видно, чертовски талантливый тип. Добросовестно себя тренирует.

Что он этим хотел сказать? Я не понял. Тогда Зузенко столь же неясно и неохотно объяснил:

– Натаскивает себя на впечатления. Мастак!

Пожалуй, в этом он был прав. Булгаков был жаден до всего, если можно так выразиться, выпуклого в окружающей жизни.

Все, что выдавалось над ее плоскостью, будь то человек или одно какое-нибудь его свойство, удивительный поступок, непривычная мысль, внезапно замеченная мелочь (вроде согнутых от сквозняка под прямым углом язычков свечей на театральной рампе) – все это он схватывал без всякого усилия и применял и в прозе, и в пьесах, и в обыкновенном разговоре.

Может быть, поэтому никто не давал таких едких и «припечатывающих» прозвищ, как Булгаков. Особенно отличался он этим в Первой киевской гимназии, где мы вместе учились.

– Ядовитый имеете глаз и вредный язык, – с сокрушением говорил Булгакову инспектор Бодянский. – Прямо рветесь на скандал, хотя и выросли в почтенном профессорском семействе. Это ж надо придумать! Ученик вверенной нашему директору гимназии обозвал этого самого директора Маслобоем! Неприличие какое! И срам!

Глаза при этом у Бодянского смеялись. Семья Булгаковых была хорошо известна в Киеве – огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная семья.

Было в этой семье что-то чеховское, от «Трех сестер», и что-то театральное.

Булгаковы жили на спуске к Подолу против Андреевской церкви, – в очень живописном киевском закоулке.

За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля и даже пронзительной валторны, голоса молодежи, беготня и смех, опоры и пение.

Такие семьи с большими культурными и трудовыми традициями были украшением провинциальной жизни, своего рода очагами передовой мысли.

Не знаю, почему до сих пор не нашлось исследователя (может быть, потому, что это слишком трудно), который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение хотя бы для одного какого-нибудь города – Саратова, Киева или Вологды. То была бы не только ценная, но и увлекательная книга по истории русской культуры.

После гимназии я потерял Булгакова из виду, и мы снова встретились только теперь, в редакции «Гудка».

В ту зиму Булгаков писал свои острые рассказы, где насмешка и гротеск достигали разящей силы.

Я помню то ошеломление, какое вызвали такие рассказы Булгакова, как «Записки на манжетах», «Роковые яйца», «Дьяволиада» и «Похождения Чичикова (Поэма в двух пунктах с прологом и эпилогом)».

Художественный театр предложил Булгакову на основе его романа «Белая гвардия» написать пьесу. Булгаков согласился. Так появились «Дни Турбиных».

Многострадальная и блестящая, эта пьеса пережила много перипетий, запретов, но победила всех своей талантливостью и драматургической силой.

В ходе этой постановки возникло много гротескных, почти невероятных подробностей. Гофманиада сопровождала Булгакова всю его жизнь.

Недаром любимым писателем Булгакова был Гоголь. Не тот истолкованный по-казенному Гоголь, которого мы принесли в жизнь с гимназической скамьи, а неистовый фантаст, безмерно пугающий людей то своим восторгом, то сардоническим хохотом, то фантастическим воображением, от которого стынет кровь.

Гоголь всегда как бы стоит позади читателей и своих героев и пристально смотрит им в спину. И все оглядываются, боясь его всепроницающего взгляда. А оглянувшись, вдруг с облегчением замечают на глазах Гоголя слезы восхищения чем-то столь прекрасным, как сверкающее итальянское небо над Римом или бешеный раскат русской тройки по ковыльным степям.

У Булгакова была странная и тяжелая судьба.

МХАТ играл только его старые пьесы. Новая пьеса «Мольер» была запрещена. Прозу его перестали печатать.

Он очень страдал от этого, мучился и наконец не выдержал и написал письмо Сталину, полное высокого достоинства русского писателя. В этом письме он настаивал на единственном и священном праве писателя – праве печататься и тем самым общаться со своим народом и служить ему всеми силами своего существа.

Ответа он не получил.

Булгаков тосковал. Он не мог остановить своих писательских мыслей. Не мог выбросить на свалку свое воображение. Худшей казни нет и не может быть для пишущего человека.

Лишенный возможности печататься, он выдумывал для своих близких людей удивительные рассказы – и грустные и шуточные. Он рассказывал их дома, за чайным столом.

К сожалению, только небольшая часть этих рассказов сохранилась в памяти. Большинство их забылось или, выражаясь старомодно, кануло в Лету.

В детстве я очень ясно представлял себе эту Лету – медленную подземную реку с черной водой. В ней очень долго и безвозвратно тонули, как будто угасали, люди и даже человеческие голоса.

Я помню один такой рассказ.

Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные и загадочные письма и подписывается: «Тарзан».

Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится: «Развели в органах тунеядцев, одного человека словить не можете!»

Наконец Булгаков найден и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь:

– Это вы мне эти письма пишете?

– Да, я, Иосиф Виссарионович.

Молчание.

– А что такое, Иосиф Виссарионович? – спрашивает обеспокоенный Булгаков.

– Да ничего. Интересно пишете.

Молчание.

– Так, значит, это вы – Булгаков?

– Да, это я, Иосиф Виссарионович.

– Почему брюки заштопанные, туфли рваные? Ай, нехорошо! Совсем нехорошо!

– Да так... Заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.

Сталин поворачивается к нарктому снабжения:

– Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут? Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть. В габардин! А ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь, какие надел сапоги! Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь!

И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову:

– Понимаешь, Миша, все кричат – гениальный, гениальный. А не с кем даже коньяку выпить!

Так постепенно черта за чертой, крупица за крупицей идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен и даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя.

Однажды Булгаков приходит к Сталину усталый, унылый.

– Садись, Миша. Чего ты грустный? В чем дело?

– Да вот пьесу написал.

– Так радоваться надо, когда целую пьесу написал. Зачем грустный?

– Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.

– А где бы ты хотел поставить?

– Да, конечно, в МХАТе, Иосиф Виссарионович.

– Театры допускают безобразие! Не волнуйся, Миша. Садись.

Сталин берет телефонную трубку.

– Барышня! А, барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!

Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.

– Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз, русским языком вам говорю! Это кто? МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте! Где директор? Как? Умер? Только что? Скажи, пожалуйста, какой пошел нервный народ!

Проводы учебного корабля

Норвежский парусный барк с железным корпусом – прекрасный океанский корабль – сел на камни во время первой мировой войны в горле Белого моря.

Русское правительство купило этот корабль у Норвегии. После революции ему дали название «Товарищ», превратили в учебный корабль торгового флота и летом 1924 года отправили из Ленинграда в кругосветное плавание.

В редакции «На вахте» началось волнение – кого послать в Ленинград корреспондентом на проводы «Товарища»?

Это был первый советский парусный корабль, уходивший в такое заманчивое плавание. Я, конечно, никак не надеялся попасть на проводы «Товарища». Я понимал, что право на это имеют прежде всего наши сотрудники-моряки Новиков-Прибой и Зузенко.

Женька Иванов устроил по этому поводу совещание. На нем неожиданно появился Александр Грин.

Я видел его тогда в первый и в последний раз. Я смотрел на него так, будто у нас в редакции, в пыльной и беспорядочной Москве появился капитан «Летучего Голландца» или сам Стивенсон.

Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно и вежливо усмехался, но только одними глазами – темными, усталыми и внимательными. Он был в глухом черном костюме, блестящем от старости, и в черной шляпе. В то время никто шляп не носил.

Грин сел за стол и положил на него руки – жилистые сильные руки матроса и бродяги. Крупные вены вздулись у него на руках. Он посмотрел на них, покачал головой и сжал кулаки, – вены сразу опали.

– Ну вот, – сказал он глуховатым и ровным голосом, – я напишу вам рассказ, если вы дадите мне, конечно, немного денег. Аванс. Понимаете? Положение у меня безусловно трагическое. Мне надо сейчас же уехать к себе в Феодосию.

– Не хотите ли вы, Александр Степанович, съездить от нас в Петроград на проводы «Товарища»? – спросил его Женька Иванов.

– Нет! – твердо ответил Грин. – Я болею. Мне нужно совсем немного, самую малую толику. На хлеб, на табак, на дорогу. В первой же феодосийской кофейне я отойду. От одного запаха кофе и стука бильярдных шаров. От одного паровозного дыма. А здесь я пропадаю.

Женька Иванов тотчас же распорядился выписать Грину аванс.

Все почему-то молчали. Молчал и Грин. Молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым своим воображением, какие волшебные страны цвели, никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца.

И какие тесные, шумные, певучие и пахучие портовые города, залитые успокоительным солнцем, превращались в нагромождение удивительных сказок и уходили вдаль, как сон, как звук затихающих женских шагов, как опьяняющее дыхание открытых только им, Грином, благословенных и цветущих стран,

Мысли у меня металась и путались в голове, я молчал, а время шло. Я знал, что вот-вот Грин встанет и уйдет.

– Чем вы сейчас заняты, Александр Степанович? – спросил Грина Новиков-Прибой.

– Стреляю из лука перепелов в степи под Феодосией, за Сарыголом, – усмехнувшись, ответил Грин. – Для пропитания.

Нельзя было понять, – шутит ли он или говорит серьезно. Он встал, попрощался и вышел прямой и строгий. Он ушел навсегда, и я больше никогда не видел его. Я только думал и писал о

нем, сознавая, что это слишком малая дань моей благодарности Грину за тот щедрый подарок, какой он бескорыстно оставил всем мечтателям и поэтам.

– Большой человек! – сказал Новиков-Прибой. – Заколдованный. Уступил бы мне хоть несколько слов, как бы я радовался! Я-то пишу, честное слово, как полотер. А у него вдохнешь одну строку – и задохнешься. Так хорошо!

Новиков-Прибой разволновался и тоже отказался ехать на проводы «Товарища».

– Только сердце себе буравить, – сказал он сердито.

Пришла очередь Зузенко. Он подмигнул мне и сказал, что согласился бы идти на «Товарище» капитаном. Приезжать же ему, старому морскому волку, на корабль в качестве «щелкопера» неуместно. Обойдутся и без него.

Тогда Женька Иванов предложил ехать мне⁶. И сам тоже вызвался ехать.

Мы выехали на следующий день.

Я первый раз в жизни ехал на север. Уже в поезде за Тверью я почувствовал величавость его лесов, тусклого неба и равнин, озаренных бледным солнечным светом.

В детстве я читал у Пушкина, что «город Петра» возник во тьме лесов, среди чухонских болот. Потом это представление забылось. Его вытеснила сложная история города, его торжественная архитектура, постоянное присутствие здесь сотен замечательных людей.

Еще не зная Петербурга, я видел его их глазами.

Поколения писателей, поэтов, художников, ученых, полководцев, моряков и революционеров, прекрасных девушек и блестящих женщин сообщали полуночной столице облик героический и почти нереальный. По милости писателей и поэтов Петербург был населен призраками. Но для меня они были так же реальны, как и окружающие люди.

В глубине души я верил, что Евгений Онегин, Настасья Филипповна, Незнакомка и Анна Каренина жили здесь на самом деле и этим обогатили мое познание Петербурга. Нельзя себе представить Петербург без этого сонма сложных и привлекательных лиц.

Я был уверен, что в Петербурге жизнь реальная и жизнь, рожденная воображением, сливаются неразрывно.

Я чувствовал на расстоянии его притягательную силу. Как будто в светлом воздухе и блеске ночей именно со мной должны были совершиться всякие события, похожие на те, что действительно происходили в этом городе и навек запомнились людям.

⁶ Отчет отца о празднике (за подписью «К. П.») был помещен в журнале «Рабочий водного транспорта» (1923, № 51). Вот несколько фрагментов очерка: ПОД СИНИМ ВЫМПЕЛОМ (Фрагменты) Авто, дыша теплом и маслом, мчит нас по пустынным, поросшим травой проспектам Петрограда к черно-синей ветреной Неве. Намостях бьет в лицо свежий ветер с залива и в солнечном тумане вдоль гранитных берегов играют сотнями флагов суда Балтийского госпароходства. Сегодня – годовщина пароходства, праздник балтийских торговых моряков. Около здания госпароходства встречаются гостей моряки, – сожженные солнцем и ветром, спокойные, радужные, и солнце играет светлым, весенним золотом на их шевронах и крепком, кофейном загаре. С набережной идем в Петроградский райкомвод. На безлюдном, широком проспекте – особняк в английском стиле. Внутри – ряд светлых, чистых, блестящих лакированными палисандровыми стенами комнат, залы, библиотека, морские плакаты и картины, и за окнами – густой, прохладный сад. И во всем, в каждой мелочи, виден чей-то вкус, видна большая культурность и забота о своем «Морском доме». Особенно поражает Петроградский райкомвод своей чисто морской чистотой и уютом москвичей, привыкших к прокуренным, темным, тесным канцеляриям, напоминающим... какие-то затхлые «воинские присутствия». Почти во всех комнатах Петроградского райкомвода, на стенах – прекрасные модели судов и пароходов-«Товарищ» (бывш. «Лауристон») – отчасти виновник сегодняшнего торжества. Это первое судно, отправляющееся после революции в кругосветное плавание... «Товарищ» строен, высок и блещет чистотой. На палубе под лениво подымающимися на ветру флагами – пестрая толпа моряков, иностранных матросов с душистыми трубками в зубах, родственников экипажа «Товарища», просто любопытных детей. Сегодня все – гости моряков, и старший помощник и вахтенные у трапа осторожно проводят по шатким мосткам радостную и изумленную детвору. Команда выстроена на баке. Все – загорелая молодежь и среди нее – женщина, штурман дальнего плавания, идущая в этот рейс «на практику» простым матросом. Старший помощник говорит, что она прекрасно лазает по вантам, – пожалуй, лучше мужчин, – и первая бросается исполнять самые тяжелые работы, – подавать бейфит и т. п. Ученики говорят с ней по-товарищески, и на их лицах я не заметил ни тени той усмешки и недоброжелательства, которое преследует всегда женщину-пионерку, – «лезет, мол, баба не в свое дело». Старшие моряки и товарищи напутствуют молодых моряков... Во время речей, все время празднества на корабле трещат киноаппараты и затворы кодаков. Севзапкино боится пропустить каждый, даже незначительный штрих этого своеобразного морского праздника.

Поэтому, подъезжая к Ленинграду, я волновался так сильно, что просто оглох, не слышал вопросов, обращенных ко мне, и вообще был похож на одержимого.

Город появился как видение, созданное из мглистого воздуха. Дымка лежала в далях его проспектов. Сквозь нее бледно светила легендарная игла Адмиралтейства. Над Невой покачивался слюдяной солнечный блеск и пролетали легкие ветры со взморья.

Линии величественных зданий (я сразу понял, что таких архитектурных чудес нет больше нигде на свете) были чуть размыты северным воздухом и приобрели от этого особую выразительность.

На Невском проспекте меж влажных торцов пробивалась свежая трава. Ленинград был в тот год совершенно бездымен, чист. Почти все его заводы бездействовали.

Мы ехали с Ивановым с вокзала на Васильевский остров на стареньком форде. Я боялся, что Иванов начнет болтать и мне придется прислушиваться к его словам и отвечать на них. Но он оказался молодцом! Он молчал и только, прищурившись, смотрел вокруг.

Сотни раз до этого я читал и слышал слова «На берегах Невы». Но я, конечно, не понимал, что это значит, пока со взлетающего длинного моста не грянул в глаза величавый разворот дворцов и не сверкнула синева обветренной Невы.

Над царственным простором горело солнце и цепенела тишина. Даже не тишина, а нечто большее – великая немота этого великолепия.

Очень легко дышалось. Может быть, потому, что воздух непрерывно соприкасался со смолой сосновых торцов и запахом лип. Здесь они казались такими темными, как нигде в мире. Особенно липы в Летнем саду.

Мы вышли из машины около Морского корпуса. По кривым, осевшим от времени огромным плитам мы поднялись в здание корпуса, в холодный парадный зал. Там шло собрание моряков в связи с отплытием «Товарища».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.